

БЛОК И НАРОДНИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Статья М. Г. Петровой

В 1918 г. Блок оценил одну статью о своем творчестве как «порхание с предмета на предмет», лишенное «глубокого», и заметил: «Я бы, если бы собрался писать статью, поинтересовался бы узнать точнее подробности внешние, но в корне меняющие дело» (ЛН, т. 92, кн. 2, с. 334). А в 1919 г. в предисловии к «Возмездию» написал: «Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор» (III, 297).

Не претендуя на «глубокое» и «музыкальный напор», историк литературы собирает факты в уверенности, что они создадут некий смысловой напор и покажут путь Блока к тому важному признанию, которое он сделал в 1919 г.: «Сочувствуя течением социализма и интернационализма, склонялся всегда более к народничеству, чем к марксизму»¹. Разумеется, это было особое народничество — романтическое, неперебиваемое в плоскость политики и социологии. В этом смысле характерно определение Андрея Белого, данное в 1921 г.: «Он — *новый народник*; он народник, возводящий культ русской души в рыцарский культ» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 829). Однако в судьбе Блока важно проследить и связи с реальным лагерем народничества, которое Ленин определял как «идеологию (систему взглядов) крестьянской демократии в России»² и которое предлагал в 1912 г. оценивать, исходя из «глубокого положения Энгельса»: «Ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной в всемирно-историческом смысле»³.

1

Свою семейную хронику «Касьян» Бекетовы вели с 1876 г. В этом году, в январе, марте и июне, в «Отечественных записках» печатались «социологические очерки» Н. К. Михайловского «Борьба за индивидуальность», имевшие подзаголовок «Семья». Введение было опубликовано в октябрьской книжке «Отечественных записок» за 1875 г., но оно явилось лишь обширным подходом к теме и заканчивалось обещанием подвергнуть «анализу различные формы общественной жизни», начав «с самой элементарной формы — с семьи»⁴.

В доме профессора А. Н. Бекетова выписывали и читали журнал, редактируемый Некрасовым и Щедриным (по свидетельству М. А. Бекетовой, книжки «Отечественных записок» хранились в Шахматове — ЛН, т. 92, кн. 3, с. 676). Обе темы (заголовок и подзаголовок) были обращены прежде всего к молодым читателям. Критик А. Г. Горнфельд заметил в 20-е годы, что Михайловский был писателем, находящим отклик в душе молодежи «с ее максимализмом, с ее исканиями, с ее жаждой добиться смысла своего существования»⁵.

Дочери Бекетова прочли статью, и Михайловский узнал об их впечатлении. В сентябре 1883 г. он писал Е. П. Летковой-Султановой: «Подвигаясь дальше в приготовлении пятого тома, я убедился, что Вам не стыдно будет получить его в форме посвящения. Но может быть неловко в одном специальном отношении. В „Борьбе за индивидуальность“ излагается теория любви, и даже ею только почти вся эта группа статей исчерпывается. Это бы еще ничего. Но одна из них, именно 3-я (или 2-я из имеющих подзаглавие „Семья“), содержит в себе нечто, как бы сказать, неприличное. Понятно, что, с моей точки зрения, ничего

такого нет, но есть щекотливые подробности, и я помню, что дочки Бекетова (я их не знаю, а слышал), девицы (одна уж, впрочем, теперь замужем), ко мне вообще благоволящие, нашли по этому поводу, что меня просто читать нельзя. Так вот как с посвящением?»⁶.

Хотя дочки Бекетова росли «нечопорно» и в ректорском доме царил «дух естественных наук», но старшей шел 21-й год, и это были, по характеристике Блока, «тогдашние барышни: тихие, настоящие (в противоположность современным бесстыдницам)» (III, 619).

Да и тон Михайловского мог смутить хоть кого — он пользовался терминологией, принятой в специальной научной литературе, и трактовал о взаимоотношении полов с непривычной свободой. В этом был вызов и «христианскому аскетическому идеалу», который метал громы «против языческого веселья, сильного своей связью со стародавним обычным правом»⁷, и современному пурризму, которому Чехов в 1884 г. дал сверхметкое определение: «В наш благочестивый век, когда даже голый подбородок считается за декольте...»⁸. Статья пестрила «неприличными» оборотами и «страшными» словами: «половой акт», «оплодотворяющая функция», «растление девства», «религиозная проституция» и многое другое. «Откуда берется и чем обуславливается это весеннее ликование природы, — раскованно писал публицист „Отечественных записок“, — когда цветы блистают своими разукрашенными половыми органами и птицы запевают свои песни любви?»⁹

Немудрено, что барышни Бекетовы возмутились («Над всем чужим — всегда кавычки, // И даже иногда — испуг...» — III, 314). По-видимому, это была не единственная реакция, ибо в следующих очерках «Семья» Михайловский стал выражаться аккуратнее, а позднее в руководимом им «Русском богатстве» «дух естественных наук» был приведен в разумное соответствие с «благочестивым веком».

От кого слышал Михайловский мнение дочек Бекетова? Видимо, от самого Андрея Николаевича, с которым часто встречался в 1878—1881 гг. В это время Михайловский, соредактор Щедрина по «Отечественным запискам», был секретарем Литературного фонда, а Бекетов — членом комитета, в 1880—1881 гг. в комитет входил и Щедрин (Блок упоминает о совместных поездках деда с Щедриным на заседания Литературного фонда — III, 445). Письмо 1883 г. говорит о более ранних событиях, отсюда некоторый анахронизм сообщения Михайловского («одна уж, впрочем, теперь замужем»). В 1883 г. замужем были две дочери Бекетова, а у той, что попыталась создать семью первой, растет мальчик — Александр.

Ко времени совместных заседаний в Литературном фонде относится передача Щедрина (а может быть, Михайловскому) рукописи старшей дочери Бекетова Екатерины Андреевны «Не судьба» (напечатана под псевдонимом Е. А. в «Отечественных записках», 1881, № 4). Повесть появилась в пышном окружении народных имен: А. Осипович, С. Каронин, Гл. Успенский, А. Скабичевский, Н. Златовратский... Но сама никаких «проклятых и больных вопросов» (III, 318) не ставила, а принадлежала к дамской или, скорее, девической литературе, о которой П. Ф. Якубович писал в 1908 г. Короленко, что мечта жизни героини — найти «настоящий предмет». И добавлял: «Не маловато ли для „Русского богатства“?»¹⁰. Однако каждому журналу, даже «мужиковствующему» (так порою называли «Отечественные записки» и позднее «Русское богатство»), нужно чем-то «рассыропить» крестьянскую тематику, как писал чуждый всем видам ригоризма Н. Ф. Анненский в 1911 г. Короленко, а то получается «тяжело и серо»¹¹.

Этой задаче и служила повесть «Не судьба», где герой дважды стрелялся из-за неразделенной любви, а героиня (автопортрет Е. А. Бекетовой) принадлежала к типу «разборчивых невест», наивно мечтающих о будущем муже «из самого чистого, прозрачного горного хрусталя, потом железа, кремня, много, много стали», а главное — «с лицом человека, умирающего за идею, т. е. способного умереть»¹². Имелись, однако, и соответствующие (республиканские и народни-

ческие) аксессуары: героиня любит деревню, земледелие, мужиков, является на бал «в кровавом корсаже», а свои пепельные вьющиеся волосы носит в виде фригийского колпака, в котором изображалась французская «дева-республика». Таким образом, героиня повести может претендовать на характеристику, данную в «Возмездии» старшей сестре, — «народница и недотрога», но в ней есть и то индивидуалистическое начало, которое придет на смену бекетовской демократической тезе.

Многие психологические и бытовые детали взяты из бекетовского обихода: взаимоотношения героини со старым отцом, поездки в подмосковное имение, утопающее в сирени, раскладка и устройство там петербургского багажа. Изображен и один из представителей «династии Проворингов», по шутливому выражению молодого Блока, которая поставляла управляющих в Шахматово: «Мне что воровать? Я и так возьму, — говорил он благодушно. — Нешто у барина мало? Небось, хватит на всех». Постоянное исчезновение вещей и живности объяснялось тем, что пропажа либо «сопрела», либо «распухла от мороза» и продана за бесценок...¹³

Семейное предание рисует Андрея Николаевича наивным и добрым до святой простоты. О Щедрине Блок записал в материалах к «Возмездию»: «Циник, вечно „злится“». И привел пример с лангутом в ресторане Донона: «Ступай вон со своим раком» (III, 445). В тексте «Возмездия» старобарское «брюзжание» отличает и деда, и Щедрина («То — недоварены форели, // А то — уха им не жирна»). Тургенев, человек бекетовской складки (это отмечено Блоком — III, 315), писал о Щедрине: «Он очень наивен и добр», как «ни вращает глазами и ни старается быть „букой“»¹⁴. По существу, все трое — Тургенев, Щедрин и Бекетов — имели общие родовые черты высоко ценимого Блоком слоя народолюбивой дворянской интеллигенции.

Интересны суждения самого Андрея Николаевича о Щедрине, высказанные в дневниковой записи 6 мая 1889 г., вскоре после смерти писателя: «Я его знал мало, знакомство мое с ним было не долговременно и не близко. Не могу по личным воспоминаниям сказать что-либо о нем как о человеке. Что же касается его литературной деятельности, то о ней может судить всякий».

На похоронах Михаила Евграфовича народу было много, был и я. Толпа была большая, может быть, тысячи в 2 или 2½. Молодежь — преимущественно студенты университета — во все время шествия пела духовный гимн...

Официальный и высокопоставленный мир отсутствовал.

Академия наук не отозвалась ни единым звуком.

Говорят (пишет Михайловский), что Михаил Евграфович незадолго перед смертью собирался начать новый очерк под именем „Забытые слова“. Совесть, честь и т. п. ... — вот эти слова.

Салтыков всю свою жизнь трудился над возобновлением смысла этих слов.

Говорят, что он ненавидел все русское. Я скажу, что он ненавидел подлость и глупость повсюду, а так как он писатель русский, то он обрушивался исключительно на глупость и подлость русскую. Он стремился искоренить в своем отечестве и то и другое. Пусть всякий сам судит о том, насколько он послужил этому делу.

Спорить же о том, нужно ли преследовать и притом нещадно всякую нравственную мерзость, — вряд ли кто станет»¹⁵.

Выделен прежде всего этический пафос, который и определяет все остальное. «Мотивы чести и совести» были «лично излюбленными» и в публицистике Михайловского¹⁶, на их основе строились статьи о Щедрине и Гл. Успенском, об Ибсене и Горьком. Вслед за Щедриным Михайловский связывал мотив чести и совести с восстанием человека против «естественного» порядка вещей, при котором щука ест карася; при этом и роль угнетателя и роль угнетенного расценивалась как недостойная человеческой природы. Эта гуманистическая по самой сути своей формула имела и для «внука» смысл живой, не «забытый». 1 февраля 1914 г. Блок записал: «Мама у меня — необыкновенный разговор о чести и совести» (ЗК, 205). Знакомясь со статьей И. Н. Игнатова «Художественная ли-

тература и критика 70-х годов», Блок отчеркнул на полях рассуждения о «забытых словах» Щедрина, знаменующих «перемену в настроении и желаниях интеллигенции»¹⁷.

В семейных легендах «простота» А. Н. Бекетова несколько стилизовалась, и для этого, разумеется, были свои основания. 4 февраля 1880 г. Щедрин писал тогдашнему председателю Литературного фонда В. П. Гаевскому о намерении читать на вечере вместе с А. Н. Бекетовым свою «пьесу» «В дороге» (из «Благонамеренных речей») ¹⁸. Этот очерк написан в виде диалогов и удобен для чтения вдвоем. Но выбор пал на него, видимо, по другой причине. Там звучит (очень настойчиво!) мотив «простоты» («Уж очень вы, сударь, просты! Ах, как вы просты!»), не сочетающийся с «благонамеренными речами» современности — «наглым панегириком мошенничеству». «Простотой», или попросту глупостью, названо неумение поступать «с выгодой для себя и в ущерб другим». Поколение «кающихся дворян» (это определение Михайловского Блок прилагал и к себе) позволяло себя обкрадывать, потому что не умело и не хотело уметь быть помещиками старого или нового образца. «Я здесь отдыхаю», — говорил известный ученый, живя в Шахматове. Он там работал, читал, собирал гербарий, отдыхал и т. д., но — не извлекал выгоду из имения. Таким образом, даже бекетовская «наивность» или «простота» была своеобразным противостоянием «благонамеренному» времени. Причем это была сознательная позиция, диктуемая «строгим возвышенным душой» (III, 469), а не беспомощное простофильство.

Если к мемуарному и поэтическому облику «деда» добавить реальные черты, восстановленные по письмам и записям самого Андрея Николаевича, то доля «наивности» и «тургеневской безмятежности» (III, 315) значительно уменьшится и перед нами встанет человек решительный в суждениях и поступках.

В «Возмездии» «благородство запоздалое» «старинной ладьи» дедовского дома выглядит несколько растерянным перед новыми временами, когда «зашаталось все кругом» и «хищник» с умом холодным и жестоким «вступил в неожиданные прava», чтобы

...пить живую кровь
Уже от ужаса — безумной,
Дрожащей жертвы...

(II, 325)

При этом глава семьи лишь предается тоске и печали о судьбе России и дочери: по-тургеневски — «седея, в дым глядит...» (III, 327). В действительности дело обстояло иначе. Сохранился черновик письма А. Н. Бекетова А. Л. Блоку, в котором «дед» говорит с «хищником» языком холодным и разящим, отстаивая не только жизнь и достоинство своей дочери, но и гуманистический взгляд на человеческую личность и ее свободу. «Дед» вступает в борьбу с индивидуализмом зятя за индивидуальность юной дочери и оказывается победителем. Самый стиль письма, восходящий к манере шестидесятников, говорит о том, что колыбель будущего поэта России защищала рука властительная и твердая ¹⁹. Не случайно, конечно, А. Н. Бекетов мог занимать должность ректора Петербургского университета и умело отстаивать интересы студентов от посягательств «своевольной и невежественной полиции». Так он писал в 1877 г. в записке о студентах, которая содержала слова: «Молодость есть та пора жизни, в которой человек особенно горячо сочувствует всему хорошему, прекрасному и великому» ²⁰.

В 1911 г. в плане первой главы «Возмездия» Блок писал о дедовских временах: «Тогда и казалось, что есть и было на самом деле только две силы: сила тупой и темной „византийской“ реакции — и сила светлая — русский либерализм. Единицы держат Россию, составляя „общественное мнение“».

Ну, а „Народная Воля“?

Итак, — священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы (а в университете их тем временем разрешают, как всегда, студенты)...» (III, 463).

Сохранился любопытный документ, который выглядит как иллюстрация к словам Блока: письмо Е. М. Феоктистова М. Н. Каткову от 3—4 ноября 1879 г. (время действия первой части «Возмездия» — 1878—1881 гг.). Феоктистов был в те годы редактором «Журнала министерства народного просвещения», а в 1883 г. занял пост начальника Главного управления по делам печати, и (как предвидел Щедрин) «Отечественные записки» были закрыты. Официальными постами деятельность Феоктистова не исчерпывалась в полном соответствии с сатирическими «тезисами» Блока «Государственная служба» («Враг внутренний есть студент». «Я тебе покажу, как рассуждать». «Следите за Ивановым и доложите мне» — VI, 18). «Недреманное око» плет Каткову донос, в котором даже дата (*суббота, 3, вечером*) должна демонстрировать усердие не знающего отдыха стража порядка: «В университете же заваривается каша. Главные и единственные виновники ее — профессора и попечитель. Сей последний (т. е. князь Волконский) принадлежит, по словам Гурко (петербургский генерал-губернатор. — М. П.), к числу самых фальшивых и ненадежных людей. Известно было, что он вообще популярничает с профессорами и вместе с ними скорбит о новых правилах. Ровно неделю тому назад здешний инспектор студентов Антропов явился к Гурко и жаловался ему, что попечитель хочет поставить его в неловкое положение, а именно в присутствии ректора (А. Н. Бекетова. — М. П.) стал ему объяснять, как он должен понимать свои обязанности, и из этого объяснения вышло, что он (Антропов) должен считать себя подначальным лицом ректору, ничего не предпринимать без его ведома и т. п. — все это в видах де избежания двоевластия. Гурко тотчас же вызвал к себе Волконского и сделал ему энергичное внушение, а Антропову приказал действовать так, как он действовал прежде. Чрез несколько дней после того начались волнения между студентами. Почин им был подан профессорами. Гурко не имеет ровно никаких сведений от нашего министерства, но имеет их от 3-го Отделения и от Зурова (петербургский градоначальник. — М. П.). Все эти донесения он читал мне вчера вечером. Из них оказывается, что дня три тому назад Антропов вошел в аудиторию, когда в ней читал лекции профессор Меншуткин (декан математического факультета). Увидев его, Меншуткин прервал лекцию и попросил его удалиться. Чтобы не подать повода к скандалу, Антропов вышел, но после лекции обратился к Меншуткину за объяснениями, говоря, что, как лицу, принадлежащему к университету, ему не возбраняется, кажется, доступ в аудитории. Менделеев (профессор), присутствовавший при этом разговоре, заметил, что если он (Антропов) считает себя принадлежащим к университетской корпорации, то ведь точно на таком же основании могут причислять себя к ней и *трубочисты*, которые чистят в университете трубы. Все это вчера в 6 часов было донесено Гурко 3-м Отделением и Зуровым <...> Вечером был у Гурко и А. И. Георгиевский (автор новой инструкции, против которой и шла борьба. — М. П.). Он имел частные сведения, что уже и прежде некоторые профессора (особенно Таганцев и Градовский) даже в своих лекциях позволили себе выходы против инспекторской власти.

Георгиевский настаивал пред Гурко, что надо приняться за профессоров, как за главных виновников, и Гурко вполне соглашался с ним <...>

Вижу, что я забыл упомянуть о действиях студентов. Дня три тому назад образовали они сходку в читальную и начали разглашествовать против правил. Антропов тотчас же пришел и пригласил их разойтись. Они ушли в курительную. Там какой-то студент начал держать им речь, что необходимо отказать немедленно от соблюдения правил, ибо де позднее будет еще хуже, так как известно де, что в новом уставе для студентов вводятся телесные наказания. Антропов явился в курительную, но ему стали свистать <...> Вчера арестовали того студента, который в курительной произносил упомянутую выше речь. Сын А. И. Георгиевского рассказывал отцу, что раздавались крики: „нужно Антропова избить“. Словом волнения продолжают <...> Думаю, что Гурко будет действовать энергически. Если еще он ничего не предпринял, то (повторяю) только потому, что лишь вчера 3-е Отделение и Зуров сообщили

ему о всем вышеизложенном (о Меншуткине, Менделееве и действиях студентов). Ни ректор, ни министр ни о чем не уведомили его <...>

Вчера А. И. Георгиевский советовал Гурко, если волнения будут продолжаться в университете, то тотчас же расставить в нем войско. А я советовал Гурко призвать Менделеева и Меншуткина и сказать им, что так как их действия возбуждали волнения среди студентов, то они и должны отвечать за них, а именно, если волнения не прекратятся тотчас же, то они (Меншуткин и Менделеев) будут высланы административным порядком в отдаленные города. Разумеется, надо это обязательно и исполнить, а потом приняться за студентов.

Оставляю это письмо до завтрашнего дня <...>

Так как А. И. Георгиевский и вчера видел Гурко, то я посылал сейчас к нему справиться, не знает ли он что-либо о вчерашнем дне. Вот слово в слово его ответная записка:

„О вчерашнем дне никаких сведений не имею. Даже сын мой в университете не был, так как лекций в этот день у них не назначено. Гурко совершенно основательно ожидает, чтобы учебное начальство обратилось к нему за содействием, но оно где-то скрывается. Впрочем, он уже распорядился вызвать к себе попечителя и ректора с целью предупредить их, что если будут беспорядки, то отвечать пред ним будут они, а также те профессора, которые подстрекают студентов“ <...>

Р. С. Вчера вечером слышал, что известной здесь г-же Философовой²¹ (жене генерал-прокурора военного) велено выехать за границу и не возвращаться без разрешения. Она была своего рода *m-me Rolland* здешних отчаянных либералов, и подозревают, что даже с нигилистами (т. е. с революционерами. — М. П.) находилась в близких сношениях.

В субботу будет суд Мирского. На военном суде предстанет и мой *beau frère*, адвокат Ольхин, по обвинению в укрывательстве Мирского²².

В лихорадочном рвении «холоп Каткова», по аттестации Щедрина, соединил в одном доносе все живые элементы русского общества (от «дедов» до народовольца Л. Ф. Мирского) и нарисовал, помимо своей воли, общественную атмосферу духовного противостояния «арестам, обыскам, доносам» (III, 326). В следующем письме, от 7 ноября 1879 г., Феоктистов сообщает о вызове А. Н. Бекетова, Д. И. Менделеева и Н. А. Меншуткина к генерал-губернатору для строгого разбору за «либеральничанье», а также об увольнении инспектора Антропова, обнаружившего «большую трусость» перед студентами...²³

И власти не легко опять

Всех тех, кто перестал быть пешкой,

В послушных пешек обращать.

(III, 607)

Упомянутые Феоктистовым профессора Н. С. Таганцев и А. Д. Градовский, как и ректор Бекетов, видные деятели комитета Литературного фонда.

Beau frère Феоктистова, А. А. Ольхин, был генеральским сыном, воспитанником привилегированного Александровского лицея, подающим надежды дипломатом. Но он предпочел, пользуясь терминологией Михайловского, «борьбу за индивидуальность» борьбе за существование. Стал адвокатом, защитником на политических процессах. Ему принадлежит известное переложение «Дубинushки» в песню возмездия: «И от дедов к отцам, от отцов к сыновьям эта песня идет по наследству...». Другьями Ольхина были Михайловский, А. И. Иванчин-Писарев, Н. Ф. Анненский, позднее Короленко, — вся будущая редакция «Русского богатства». В 1879—1880 гг. все они были арестованы и высланы «в отдаленные города». Лишь Михайловский отделался допросом и обыском (осенью 1879 г.), при этом у него отобрали паспорт, что обычно предвещало высылку. Но в дело вмешался председатель Литературного фонда В. П. Гавевский: он использовал личное знакомство с А. Р. Дрентельном, шефом жандармов, и секретарь Литературного фонда был вызволен из беды²⁴. А ведь

Михайловский как раз в эти годы сотрудничал в подпольных изданиях «Народной воли»!

Горстка народовольцев опиралась на очень широкую общественную оппозицию самодержавию, которая включала «всех тогдашних прекрасных передовых русских людей» (III, 463), по бесхитростному определению Блока.

В пастернаковском цикле, посвященном Блоку, один и тот же «ветер жестокий» продувает Шахматовскую усадьбу дедовских времен и поэзию третьего тома и «Двенадцати»²⁵.

И жил еще дед якобинец,
Кристалльной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

Казалось бы, явное преувеличение: ни радикалом, ни тем более якобинцем дед Блока не был, даже если рассматривать якобинство как категорию психологическую. В этом смысле внук — «недоступный, гордый, чистый, злой» — по составу души и склонности к максимализму больше соответствует представлению об якобинце. К деду более всего подходит его собственная формула — «просвещенный либерализм и гуманность»²⁶.

Приведенная выше блоковская оценка русского либерализма как «силы светлой» совпадает с оценкой Короленко, который оперировал гораздо более четкими социальными категориями, однако полагал, что русский либерализм — «несколько, быть может, бесформенный и расплывчатый — всегда склонялся в сторону социалистических симпатий, и всюду, где специфические интересы капитала сталкивались с интересами трудящихся классов, он становился без колебаний непосредственно на сторону труда...»²⁷.

Устойчивое народолюбие и «трудовые симпатии» порою придавали мыслям А. Н. Бекетова радикальное звучание. В письме к жене из Парижа 20 ноября/2 декабря 1865 г. он делится своими впечатлениями об этом «превосходно устроенном городе» «великолепной индустрии», не обольщаясь, впрочем, «блеском новой жизни с ее мизериями, очень ясно проглядывающими из-под зеркал и позолоты <...> Под именем мизерий я, впрочем, подразумеваю не бедность, а всякую гадость, о которой длинно распространяться». И делает вполне «якобинское» заключение: «И думается, что в конце концов вся эта дребень, настроенная и раззолоченная буржуазиею, когда-нибудь да заменится же более серьезною жизнью, когда-нибудь да перестанет же рабочий люд употреблять свой ум и свое умение на удовлетворение праздных болванов, набитых деньгами»²⁸. В 1866 г. А. Н. Бекетов написал очерк «Париж», в котором подвел итоги своих впечатлений: «Аккорд, поднимающийся с берегов Сены, этот сложный аккорд резок и криклив, в нем громче всего раздаются ноты бешеного, необузданного разгула, но глухие, важные и сдержанные ноты, исходящие из потаенной глубины высокого разума нации, не перестают звучать среди свиста, завывания, звяканья и бряцанья тех бубенчиков, прицепленных <?> на том шутовском колпаке, который нахлобучил на себя этот город». Но и здесь мысль «деда» влечется к своему народу и его судьбе: «Основные характеры народов, несмотря на всякие невзгоды и исторические насилия, сохраняются веками и тысячелетиями, а у нас думают гимназическим образованием переделывать людей, которых, притом, и переделывать не нужно, ибо где можно найти во всей Европе более основательного и разумного человека, чем наш русский простой человек. Все его недостатки и пороки зависят прямо от неразвития». И поэтому Бекетов с горечью констатирует неравные условия для образования во Франции и в России: «В одном Париже учащихся не меньше, чем в Петербурге жителей мужеского пола»²⁹.

По-видимому, «ветреник внук» не был знаком с этими документами (они хранились у М. А. Бекетовой) — в «Возмездии» о «деде» сказано: «Язык французский и Париж // Ему своих, пожалуй, ближе» (III, 315). Но сам он тем же де-

довским, «якобинским» взглядом измерил Париж полвека спустя: «я не полюбил Парижа, а многое в нем даже возненавидел» (VIII, 370).

*Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?*

(III, 93)

А. Н. Бекетов ценил науку и точное знание, но не походил на цехового ученого и был, по характеристике Блока, «общественным деятелем, он *берег Россию*» (III, 463), постоянно думал и писал о ней. На обороте записей по систематике растений появлялись корявые и гневные дедовские стихи о России:

То Русь — страна степей широких,
Страна порубленных лесов.
Страна чиновников безмозглых —
И храбрых воинов-глупцов.

Где власть законы попирает
И беззаконием живет

.....

Страна мужичья, оржаная,
Страна сивухи и стогов.
Страна овчинно-лаптяная,
Страна кабацких кулаков.

Где государственною верой
Зовется вера во Христа.
А во учителя той веры
Дают лишь пьяного пона.

Страна невежества и лени,
Страна жандармов и солдат,
Где правды нет давно и тени,
А совесть взята на прокат.

Скажи-ка, что с такой строною
В грядущем сбудется, мудрец...³⁰

9 марта 1889 г. маститый ученый записал в дневнике: «Если бы моя семья была обеспечена, я бы, думается мне, давно бы предался деятельности на пользу ближнего. С трудом могу и теперь отвлекаться от человеческих бедствий. Чувствуя и видя себя совершенно бессильным, страдаю и бесплодно негодую <...>

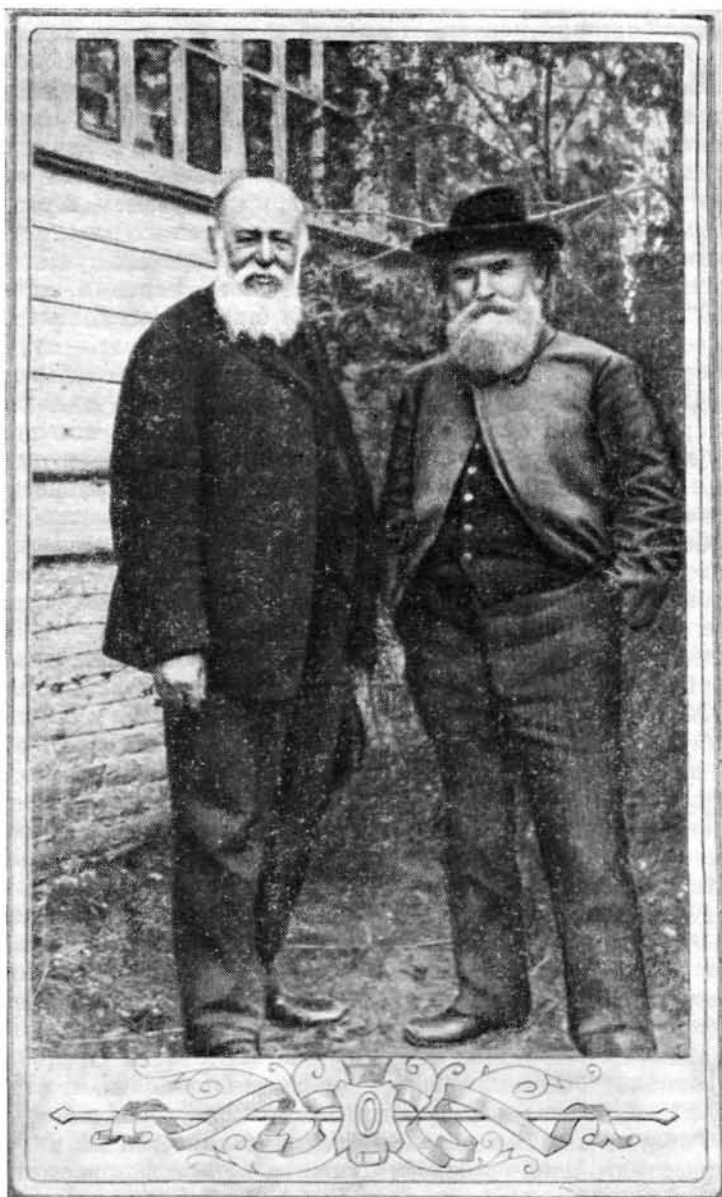
Наука меня не удовлетворяет по многим причинам, о которых скажу, может быть, потом.

Часто спрашиваю я себя: чего же мне нужно, что именно меня томит и мучит? Я думаю, скорее всего, недовольство собою»³¹.

Это чувство, по-видимому, заставляло А. Н. Бекетова покидать храм науки и отдавать много времени литературному труду: он писал мемуары, портреты современников, автобиографические повести и записки, исторические и фантастические романы и пьесы, стихи и многое другое. Некоторые записи имеют самостоятельную ценность. Например, мемуары «Николаевские времена вообще», рисующие человеческую и государственную бездарность Николая I³², или описание встречи с Н. В. Успенским³³. В фантастической повести «Будущее через три тысячи лет» А. Н. Бекетов нарисовал социальную идиллию, ожидающую человечество, а в не менее фантастической драме «Цареубийцы» изобразил некоего императора А., который отпускает на все четыре стороны убийц своего отца: «Да не падет ни кровь их ниже страдания на прах убиенного...»³⁴. Такую же «наивную» позицию по отношению к первомартовцам занимали, как известно, Лев Толстой и Владимир Соловьев.

Таким образом, перед нами встает фигура ученого и мыслителя с обостренным чувством России, которое и было заложено «роковым образом от природы» в крови гениального внука.

Знаменитая первая строка «Возмездия»: «Жизнь — без начала и конца» — как бы перекликается с первым тезисом первой статьи Михайловского „Семья“: «Не нами мир начался и не нами кончится». Статья начинается обращением:



Н. Ф. АННЕНСКИЙ И В. Г. КОРОЛЕНКО (У ДОМА КОРОЛЕНКО)

Фотография, весна 1909, Полтава

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

«Я имею к читателю, который удостоит своим вниманием эти очерки, одну очень скромную, но вместе с тем и очень важную просьбу. Я прошу его именно помнить, что не им мир начался и не им кончится <...> Читатель должен не просто обещать, а постараться как можно глубже проникнуться той мыслью, что не им мир начался и не им кончится <...> Придут иные птицы, соведут иные гнезда и запоют иные песни <...> Будем же готовы встретить и в прошедшем и в будущем такие формы общественной связи, которые потребуют от нас сильнейшего напряжения мысли и воображения. Об этом я и прошу читателя: не нами мир начался и не нами он кончится»³⁵.

Михайловский трижды повторяет призыв как своего рода заклинание. И это же заклинание слышится в первой строке поэмы, повествующей об истории одной семьи на фоне «неслыханных перемен» двух веков русской истории. Как отнестись к этому совпадению? Оценить его как случайность? Рассуждая о природе совпадений, Михайловский писал в 1885 г.: «Очень соблазнительно попытаться разложить эту игру случая на составные элементы и затем расположить их уже не в случайном, а в каком-нибудь законосообразном и разумном порядке», «чтобы перед нами раскрылись совсем новые, неожиданные перспективы»³⁶. Однако в связи со статьей А. Н. Веселовского о «Мертвых душах» задавал вопрос: «Почему не допустить, что Гоголь и не думал о Горации, когда писал свое „что смеется?“». И добавлял, что «согласился бы с г. Веселовским только в таком случае, если б он дал какие-нибудь доказательства, — ну, хоть какую-нибудь подтверждающую выписку из записной книжки Гоголя или что-нибудь в этом роде. Такая критика <...> могла бы иметь известную, даже значительную цену, если бы не так цеплялась за мелочи и если бы, не гоняясь за чисто случайными совпадениями, старалась отличить свойства, вызванные сходством обстоятельств, при которых создавались сравниваемые произведения, от настоящих заимствований или подражаний»³⁷.

Блок, наоборот, был склонен ценить и «мелочи»; он сочувственно цитировал А. Н. Веселовского: «Вопрос о заимствовании можно ставить лишь тогда, когда сходство простирается на детали». Таким образом, изучение деталей оказывается не менее важным, чем изучение крупного» (V, 569).

Мы не имеем прямых свидетельств о том, что Блок читал «Борьбу за индивидуальность». В описи шахматовских книг, составленной П. А. Журовым в 1924 г., под № 170 значится: «Михайловский Н. Собр. соч., коричн. перепл. с зол. 5 т., СПб., 1911 г.»³⁸. В описании, неточном в библиографическом отношении, прежде всего обращает на себя внимание дата. В 1911 г. был переиздан в типографии М. М. Стасюлевича только том I из прежнего шеститомника 1896—1897 гг. (издание «Русского богатства»). В этот том входила «Борьба за индивидуальность». Возможно, что и остальные тома шахматовской библиотеки принадлежали к последнему изданию сочинений Н. К. Михайловского, начатому в 1908 г. Заметим, что интерес к народническому публицисту возник по ряду причин в 1908 г.: в это время в статьях Блока появляется имя Михайловского (об этом еще пойдет речь). Тома выходили не по порядку (по мере распродажи прежнего издания), т. II не переиздавался, зато вышли дополнительно: т. VII в 1909 г., т. VIII в 1914 г., т. IX не вышел, т. X в 1913 г. В этой ситуации угадать по шахматовской описи, какие именно пять томов содержала библиотека Блока, невозможно. Однако есть все основания полагать, что т. I, вышедший в 1911 г., был. Именно в этом году Блок занимался устройством шахматовской библиотеки. Работая над первой главой «Возмездия», он не мог пройти мимо главного выразителя идей семидесятничества — Михайловского.

В этом смысле характерны и пометы Блока в «Истории русской литературы XIX в.». На полях вводной главы «Общественные и умственные течения 70-х годов» Блок написал «Михайловский» и подчеркнул слова народнического публициста, характеризующие центральный пункт его теории прогресса: «Самое слово «прогресс» имеет смысл только по отношению к человеку»³⁹. А в статье И. Н. Игнатова «Художественная литература и критика 70-х годов» излагалась теория личности Михайловского на основании его статьи «Что такое прогресс?». Однако, как писал сам Михайловский, идеи этой юношеской работы были в дальнейшем развиты и дополнены, в частности в цикле «Борьба за индивидуальность». Блок делает помету сверху страницы «все важно» и выделяет, между прочим, характерный для Михайловского взгляд на всесторонне развитую личность: «Совершенная личность, развившая в себе в высшей степени то, что ей дано природой, одинаково умеющая оценить и свободу и голубые небеса», «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду», совмещающая и политику, и науку, и труд пахаря, и знания астронома, — эта совершенная личность мерцала в виде отдаленной звезды, освещавшей темные горизонты будущего,

звезды заманчивой и прекрасной, знаменовавшей удовлетворение, счастье, прогресс»⁴⁰.

Следует отметить, что большинство монографических глав «Истории русской литературы XIX в.» (о Достоевском, Шедрине, Михайловском и др.) остались без помет. А вот обзорные статьи о 70-х годах привлекли внимание Блока, что вызвано, разумеется, работой над «Возмездием». «70-е годы, — подчеркивает Блок в тексте статьи И. Н. Игнатова, — были страшной работой сердца, мучительным ответом на требования совести»⁴¹. При этом Блок видит и односторонность семидесятников, узость «общественности», не вмещающей всей сложности литературного процесса. Последнее обстоятельство не ограничивалось рамками прошлых времен, а было наполнено современной болью.

Таким образом, в годы работы над первой главой «Возмездия» Блок жил в атмосфере интереса к 70-м годам, и это дает право сопоставлять поэму с «Борьбой за индивидуальность».

От первого тезиса о мире без начала и конца Михайловский переходит к теории борьбы за индивидуальность и разделяет людей на два типа: практический и идеальный. Он задает вопрос, не может ли представление о бесконечности мира вызвать «горькое и безотрадное чувство». В самом деле, завтрашняя история сметет нас, сегодняшних, послезавтрашняя — завтрашних и т. д., и т. д., и т. д., так что мысль отказывается, наконец, следить за этой бесконечной цепью, которая становится по мере удаления все более неопределенною, туманною, неуловимою, как очертания альпийских вершин, сливающихся с облаками <...> Из-за чего же я бьюсь? Из-за чего напрягаю свой мозг, из-за чего борюсь и страдаю...». На этот «мучительный вопрос» Михайловский дает следующий ответ: «В числе потребностей человека есть потребности знания и умиротворения совести. Одна удовлетворяется истиной, другая — справедливостью», и хотя понятия истины и справедливости также подвержены изменению в исторической перспективе, нет никакого резона смущаться этим обстоятельством и предаваться «скептицизму и сидению сложа руки»⁴²: «Идеал нужен и важен как маяк, как путеводная звезда, а так как путеводная звезда человечества не может остановиться (потому что не останавливается бег времени), то идеалом может быть только движение в известном направлении», которое определяет «ближайшие станции этого движения. Они, конечно, должны быть ясны, хоть опять-таки не теряться в мелочах»⁴³. «Когда удовлетворение жажды справедливости станет для вас такою же неотложною органическою потребностью, как удовлетворение аппетита, будущее перестанет вас смущать <...> Напротив, эта смена представляет нечто в высокой степени утешительное; она оставляет надежду, что самые пылкие ваши мечты, которые вы, может быть, даже боитесь рассказать своим современникам, хотя бы в них и не было ничего фантастического, с течением времени и осуществляются и даже превзойдутся»⁴⁴.

В итоге: бесконечность мира не отменяет ни идеала справедливости, ни различия добра и зла на ближайшем отрезке пути, ни веры в будущее.

Подобное развитие мысли можно проследить и в «Прологе» к «Возмездию»: хотя «новита даль туманом»,

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрашной мерой
Измерить все, что видишь ты.

.....
Благослови на здешний путь!
Позволь хоть малую страницу
Из книги жизни повернуть.

В тексте «Возмездия» есть строка, прямо восходящая к Михайловскому: «И, на посту не стоя «славном»...» (III, 318). «На славном посту» — название сборника, выпущенного редакцией «Русского богатства» к 40-летию литературной деятельности Михайловского в 1900 г. Строка характеризует тех, кто, не помышляя о «стоянии на страже» (бесспорной для Блока ценности), пошел обычной стезей приспособления, хотя в свое время носил личину «идеального мало-го», народническую косоворотку, болтал «о соцыализме, о коммуне» и пр.

Они похожи на ребят:
Пока не крикнет мать, — шалят;
Они — «не моего романа»:
Им — все учиться, да болтать,
Да улаживать себя мечтами...

(III, 318)

Этот тип ребячливых болтунов, якобы «страдающих за народ», Михайловский называл «гамлетизированными поросятами»: «практический тип» человеческой личности иногда пытается притвориться «идеальным типом». Михайловский полагал, что «жертва или по крайней мере хотя искренняя готовность жертвы есть единственный непререкаемый признак наличности идеала» ⁴⁵.

Что заставляет человека вступить на жертвенный путь? Смысл рассуждений Михайловского состоит в следующем: «закон развития неудержимо и постоянно толкает организованную материю вперед, к дальнейшему усложнению», поэтому подлинное развитие личности состоит не в приспособлении к окружающей среде, которое может привести к слепоте и неподвижности, а, наоборот, «к борьбе за индивидуальность между человеком и обществом», к стремлению приспособить окружающую среду к своим все усложняющимся потребностям. Человек всегда стремится к счастью и «бежит страдания», но это лишь «элементарный принцип». Эгоизм и альтруизм вытекают из одного источника, ибо альтруизм — лишь осложненный эгоизм. Человек порою сознательно идет на страдание, видя в нем особый род наслаждения; сознание исполненного долга — одна из форм такого наслаждения, понятная, разумеется, лишь «идеальному типу». «Общественная жизнь расширяет и обогащает наше личное существование» и «дарит нас целой массой наслаждений, которые совершенно немыслимы для человека одинокого, если бы такой был возможен». Первичные формы наслаждения (богатство, приобретение знаний, любовь и т. п.) далеко не всегда приносят человеку субъективное ощущение счастья. Жажда этих наслаждений превращается в источник личного несчастья, а удовлетворение вызывает пресыщение. Поэтому нужно бороться не за разные «частные цели», но «за расширение до возможных пределов своего личного существования. А эта задача сводится к борьбе с роковой тенденцией общества двигаться по типу органического развития». Следовательно, нужно бороться за такое социальное устройство, где нет «строгой специализации органов», т. е. кастовых перегородок, и царит принцип выборности: «сегодняшние руки могут завтра же сделаться головой, и обратно» ⁴⁶. «Новейшие работы в области антропологии, этнографии и исторической археологии», ведет свою линию Михайловский, «должны совершенно поколебать господствующую тупую уверенность, что исторически данные формы общества составляют предел, его же не преидеши. Ведь и людоед думал, что учреждение не фигурального, а прямого пожирания людьми людей никогда не исчезнет. Однако людоед ошибся, но пример его никого ничему не научил. Люди, почему-то называемые практическими, и теперь рассуждают, подобно людоеду. Они не могут сделать тех усилий мысли и воображения, которые требуются для того, чтобы представить себе возможность значительного изменения окружающего мира» ⁴⁷.

Так во многостраничных запутанных рассуждениях, со многими ссылками на научные труды, незаметно подкрадывался вывод, «властей ввергающий в испуг» (III, 314). Михайловский считался мастером таких «обводов» цензуры

Мотив наслаждения-страдания в подводной части вел к «смертной борьбе» тех, кто готов «взойти на черный эшафот» (III, 312 и 299).

Михайловский рассматривает различные теории любви — Шопенгауэра, Гартмана, Геккеля, «миф Платона». Сам он отчасти разделяет теорию Платона («Платон прав: любовь — взаимное тяготение двух разрезанных половинок»⁴⁸), так что «идей Платона // Великолепные миры» (III, 470) первоначально открылись дочкам Бекетова на страницах «Отечественных записок». Не принимая религиозных толкований, «подсовывающих» природе «цели и целесообразную деятельность», Михайловский сознает, что сила любви и законы ее тяготения не поддаются «тесным и узким» объяснениям естественных наук. Поэтому он считает, что «теория Шопенгауэра, оставляя в стороне ее телеологический характер (...) лучше теории Геккеля. Она больше дает уму...»⁴⁹.

Вот как толкует эту теорию Михайловский: «Судьба тех действующих лиц драмы человеческого бытия, которые выступят на сцену, когда мы сойдем с нее, вполне определяется и по существу, и по своим особенностям нашими любовными делами. Только эту внутреннюю и несознаваемую их важностью можно объяснить то обстоятельство, что поэты всех времен и народов неустанно черпали из любви свои сюжеты и все-таки не исчерпали ее. Возрастающая склонность двух любящих сердец есть уже, собственно говоря, жизненная воля нового индивида (...) в их страстных взглядах уже загорается новая жизнь, имеющая сложиться в новую гармоническую индивидуальность. Они стремятся слиться в одно существо и достигают этого в лице ребенка, который наследует качества и отца, и матери (...) Как только мужчина и женщина полюбили друг друга, так возникает уже зародыш будущего человека в виде платоновской идеи. Как и все идеи, она с страшною силою стремится выразиться в явлении, воплотиться, реализоваться, и эта-то мощь и стремительность и составляют взаимную страсть двух будущих родителей (...) Влюбленные совершенно напрасно толкуют о «гармонии их душ». Гармония эта может оказаться жесточайшим диссонансом тотчас после свадьбы, т. е. тотчас по достижении цели природы, которая состоит в зачатии ребенка, приближающегося к нормальному человеческому типу. Природа жестоко надувает влюбленных, заставляя их думать, что они созданы друг для друга, тогда как все дело (...) не в них самих, а в будущем поколении (...) Ребенок, ради которого единственно происходит вся история любви, тоже только индивид. Он вырастет и точно так же будет, инстинктивно повинувшись воле гения вида, искать счастья в любви и тоже его не найдет. Он принужден будет бороться с тысячами препятствий, будет весь изранен, потеряет, может быть, и честь, и совесть, и растопчет даже, может быть, наконец, свою собственную индивидуальность»⁵⁰.

Трудно отделаться от впечатления, что Блок в «Возмездии» ходит теми же тропами:

....Вот — любовь
Того вампирственного века,
Который превратил в калек
Достойных званья человека!

(III, 325)

Главное в рассуждениях Михайловского — устремленность рода в будущее с исторической миссией создать более совершенную личность, способную подчинить «естественный ход жизни». В предисловии к «Возмездию» Блок писал: «В каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д. (...) Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду...» (III, 297—298).

Устремленность в грядущее противоречит одной современной трактовке «Возмездия» как «поэмы конца (хотя Блок хотел, чтобы оно стало также и поэ-

мой начала) <...> Ведь и «сыну» не суждено обновить род. Исчерпанность личности достигает тут предела»⁵¹. Формула «исчерпанность личности» применима лишь к «отцу» — пришельцу в роде, который кончил жизнь «забытый // Людьми, и богом, и собой» (III, 339). А «сыну» как раз и суждено «обновить род». Последние строки этой «поэмы без конца» (не столько в смысле ее несконченности, сколько в смысле бесконечного развития форм жизни) исполнены утверждающего пафоса:

Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем *quantum satis* Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда.

(III, 344)

«Возмездие» — это «поэма продолжения».

3

Народовольческая тема поставлена в «Возмездии» так, как будто Блок знал о дискуссии вокруг семидесятников, возникшей в 90-е годы. Тогда Блок был за тридевять земель от своей будущей поэмы. Но, собирая материал для «Возмездия», он читал воспоминания народовольцев, а уж они-то знали о дискуссии. В библиотеке Блока были комплекты журнала «Былое». Читал он сборник «Былое» (Париж, 1908, № 7), где были опубликованы автобиографические свидетельства Каляева и воспоминания о нем Е. Сазонова и Б. Савинкова. Мог видеть сборники: «Памяти Ивана Платоновича Каляева», вышедший за границей в 1905 г., и «Дело Ив. Каляева» (СПб., 1906). В первом сборнике можно было прочесть, что детство Каляева освещалось «фамильными традициями, переходившими от дедов к отцам и от отцов к детям. Ведь и у народа есть свои традиции» (с. 2). В обоих сборниках были помещены фотографии и стихи Каляева. Именно на Каляева ссылается Блок в письме к В. В. Розанову от 20 февраля 1909 г., причисляя его к «истинным героям, с сияньем мученической правды на лице». Это письмо содержит и зародыш будущей поэмы: «Ведь правда всегда на стороне «юности» <...> Революция русская в ее лучших представителях — юность с нимбом вокруг лица <...> Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века, в светлых и неподкупных, *лишь временно помутившихся* взорах русских мужиков — огромная (только не схваченная еще железным кольцом мысли) *концепция* живой, могучей и юной России <...> С этой грозой никакой громоотвод не сладит» (VIII, 276—277).

Здесь слышны приближающиеся раскаты «Возмездия». Обычно замысел поэмы относят к варшавской поездке Блока в декабре 1909 г. на похороны отца. Но внутренний процесс «вбирания в себя этой концепции, как свежего воздуха» проходил задолго до того, как материал был схвачен «железным кольцом» реального замысла. У истока «Возмездия» встает облик Ивана Каляева, «юного революционера с сияющим правдой лицом» (Там же). Сама эта формула, дважды повторенная, заставляет предположить, что Блок видел фотографии Каляева, его озаренное внутренним светом лицо.

Характерно, что Марина Цветаева, дышавшая воздухом той эпохи, указала в 1926 г. на Каляева как на истинного героя революционной поэмы, ибо он — «герой древности», «герой мечты»⁵². А Э. К. Метнер проникательно написал в мае 1905 г. о Каляеве, который «прав безмерно»: «Натура — очень тонкая, блоковская» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 224).

Тема «Возмездия» зримо присутствует в стихах Ивана Каляева, особенно в одном из них, которое он считал «самым задушевным своим раздумьем» и над которым мог бы стоять эпиграф: «Юность — это возмездие».

Лучи кровавого заката
Нас в детстве озадачили.

В жестокие росли мы годы:
У виселицы черной
Стоял еще палач свободы,
Глумясь над всем задорно.

Мы каялись, «отцам» внимая,
В терпенье упражнялись,
И, измеряя даль прогресса,
Росли — и поучались

И часто мы, невзгоды дети,
Вдали от лжи, разврата,
Мечтали о борьбе при свете
Вечернего заката.

Замученных героев тени
Тогда шептались с нами,

А на небе пылало мщеньем

Кроваво: их знамя...

Спускалась ночь над их могилой,
Забытой, неизвестной,
Но нам, объатым новой силой,
Был ясен свод небесный.

Свидетель тайных дум, мечтаний
И помыслов мятежных,

Он книгу нам раскрыл деяний
Грядущих, неизбежных.

Мерцали звезды сиротливо,

Огни вдали мерцали,

А мы страницы молчаливо

Судьбы своей читали

Уж близок, близок час расправы,
Несите месть тиранам...

И мы пошли...⁵³

Эти «непрофессиональные» строки, окрыленные юношеским пафосом, написаны в 1902 г., когда Каляеву было 24 года. Смысловые и даже текстуальные переключки с «Возмездием» и стихотворением «Рожденные в года глухие...» бросаются в глаза («Мы — дети страшных лет России», «кровавый ответ в лицах», «черный эшафот», «И небо — книга между книг...», «Месть! Месть! Так эхо над Варшавой...» и др.). Разумеется, у Блока все воплощено в формы высокого искусства, да и совпадения могут быть случайными. Однако, как говорила Цветаева, «раз — случайность, два — подозрение на закон». Романтическая тональность мятежных помыслов Каляева сливается с музыкальной стихией «Возмездия», а все вместе позволяет предположить, что облик этого «рыцаря грядущего» витал над замыслом поэмы. Не подхватил ли Блок последнюю строчку Каляева «И мы пошли...», когда писал: «И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот» (III, 299).

Егор Сазонов пишет, что «общим впечатлением внутреннего сияния» Каляев напоминал юношу Сергея Радонежского на картине М. В. Нестерова: «Широкий, благородный лоб и большие, светлые, горевшие глубоким светом глаза, немного насмешливые <...> Худощавое лицо аскета с улыбкой ясной и озаряющей <...> Изящество во всем, в костюме, в манерах». Партийная кличка Каляева — «Поэт»; он не только писал стихи, но был защитником нового искусства, любил Метерлинка, Бальмонта, Брюсова, Блока (Каляев мог знать лишь «Стихи о Прекрасной Даме»). „Скажите, зачем вы употребляете ополченное и бессмысленное слово — декадент? — говорил он Сазонову. — И еще с таким пренебрежением... Те, кого вы называете декадентами, представляют наше искусство. Они тоже революционеры — да, да, не смейтесь! — они революционеры в искусстве <...> Вы, как революционер, не имеете права пренебрежительно отмахиваться от нового в искусстве, даже не потрудившись понять его“⁵⁴. Он считал себя продолжателем «Народной воли», «рыцарем духа», поднявшим «честный меч наследный». В его судебной речи грозно звучал мотив возмездия: «Пусть судит нас эта великомученица истории — народная Россия <...> Это суд истории над вами. Это волнение новой жизни, пробужденной долго накопившейся грозой <...> Борьба против самодержавия ведется десятки лет ширококрылым фронтом всей трудящейся и мыслящей России». А выслушав смертный приговор, сказал: «Учитесь смотреть прямо в глаза надвигающейся революции»⁵⁵ (близкую формулу мы встретим позднее у Блока). Каляев держался, как герой античности, но эта твердость давалась напряжением всех душевных сил⁵⁶. По приезде на место казни, в Шлиссельбург, его бил озноб. Каляев

объявил тюремщикам, что замерз, и, потребовав второе одеяло, сумел побороть дрожь. Ночью он просил ускорить казнь — предсмертные часы этой «распятой высоты» (II, 263) было не легко длить. Но казнь состоялась как всегда на рассвете. В последние два часа прокурор восемь раз входил к Каляеву и предлагал подписать прошение о помиловании. Это во всяком случае давало значительную отсрочку. Каляев твердо отказывался⁵⁷. Ранее он запретил матери подать просьбу о помиловании, ведь народовольцы не просили милости! Перед эшафотом он произнес: «Скажите моим товарищам, что я умираю радостно и буду вечно с ними»⁵⁸.

В 1918 г. Ленин использовал имя Каляева как образец нравственной безукоризненности революционера, ибо «дело Каляева действительно честное» — «убийство тирана»⁵⁹.

В довершение всех «случайностей» Иван Каляев, как и «последний первенец» «Возмездия», родился в Варшаве от польки и русского, с некоторым изменением обстоятельств: отец — из крепостных крестьян Рязанской губернии, мать, Софья Пиотровская, — из разорившейся шляхетской семьи. По свидетельству Каляева, от отца он воспринял романтическую любовь к России и русскому народу, «любовь к родным лохмотьям», как сказал бы Блок. Рыцарское служение «многострадальной России» и вера в ее жребий стали непреложным законом сердца Каляева, его Радостью-Страданием (или наслаждением-страданием, как писал Михайловский).

А в 1899 г., когда «Русское богатство» защищало память народовольцев от тех, кто утверждал, что их «идеалы не находят себе больше горячих и талантливых защитников»⁶⁰, Каляев учился на юридическом факультете Петербургского университета. Там же учился будущий певец «Возмездия» (они были однокурсниками и могли встречаться на лекциях).

В этом году в журнале «Жизнь» печатался цикл статей Е. А. Соловьева «Семидесятые годы». Критик оценивал семидесятничество (цензурные условия не позволяли прямо ставить вопрос о «Народной воле») как некий утопический феномен, как эпоху, которая «окончательно ликвидировала свои дела»⁶¹. Семидесятники (читай: народовольцы) были людьми, идущими «вверх по катящемуся вниз леднику», продолжал Е. А. Соловьев, они верили в личность, в особый уклад русской жизни, «ожидали справедливости от истории», надеялись, что их память почтут «сосредоточенным умилением»⁶². Критик был склонен к бесцеремонным и противоречивым формулировкам; это дало основание Горькому назвать его писания «пьяным танцем»⁶³. В 70-е годы, утверждал Соловьев, мы попадаем «в компанию угрюмых и в большей или меньшей степени фанатически настроенных пуритан»: «Было признано, что стремиться к личному счастью — пошло, скверно, греховно. Было признано, что *надо* страдать. Над короткой человеческой жизнью, над ее жаждой света, приволья и счастья — требовательная, ригористическая этика набросила мрачную, пугающую тень...»⁶⁴. «„Драма“ 70-х годов имела два исходных пункта: «веру в мужика» и «отрицание за человеком права на его личное счастье во имя счастья грядущих поколений. Когда вера в мужика пошатнулась, а запросы человеческой личности дали себя чувствовать с особенной силой — драма разыгралась с полной силой»⁶⁵.

В противоречии со всем этим Е. А. Соловьев писал об идейном выразителе семидесятничества: «Самое приятное в учении г-на Михайловского это, разумеется, то, что он не сотворил себе кумира из прогресса и не преклонился перед ним. Ни на минуту не упуская из вида, что страдающим и радующимся элементом в общественной жизни является личность, все свое внимание он сосредоточил на ней, ее счастии и благополучии. Это, если хотите, завершение заветов Белинского и Герцена». И опять-таки в противоречии с только что сказанным Е. А. Соловьев оспаривал «критерий прогресса» по Михайловскому (счастье человека), как не выдерживающий никакой критики, ибо счастье вообще невозможно, и предлагал собственную двусмысленную формулу прогресса — «принцип экономии сил»⁶⁶.

В заключении, носящем заглавие «О сословном духе литературы», Е. А. Со-

ловьев окончательно запутал проблему семидесятичестия: «Я утверждал и продолжаю утверждать, что в нашем народничестве старобарский сословный дух выступает с полною ясностью и что этот-то дух является первой и главной причиной всех его неудач и его скорого переутомления. Народническое движение со своим основным мотивом жалости и сострадания к бесправному мужику создано нашим старым барством» (Радищев, Герцен, Тургенев, Григорович, Щедрин, Л. Толстой, отчасти Достоевский). Именно они утверждали: «дух идеализации мужика, дух покаяния, дух внутреннего самоочищения, призыв к любви, состраданию и жалости»⁶⁷ — все то, с чем покончили новые времена и новые веяния...

Для всей группы, возглавлявшей «Русское богатство», история поколения 70-х годов была «историей моего современника», или «нашим романом», эпизодом которого служили «места отдаленные»⁶⁸. Не «потерянным раем», как полагали некоторые зазорные молодые критики, были для Михайловского 70-е годы, но «аллеей, на каждом дереве которой висит повешенный»⁶⁹. В 90-е годы он писал сотруднику «Русского богатства»: «Я не считаю результаты террора 70-х годов определенными». И в то же время: «Я не знаю, доживет ли человечество до счастья; знаю только, что это неведение или сомнение не упраздняет обязанности и счастья борьбы...»⁷⁰.

Естественно, что статья Е. А. Соловьева встретила дружное противодействие «русских богачей». Первым забил тревогу П. Ф. Якубович, находящийся в Курганской ссылке. Уже 7 января 1899 г. он написал Н. К. Михайловскому: «Статья Евг. Соловьева обещает быть довольно сомнительной вещью. Что вообще можно теперь сказать о 70-х годах, кроме пошлостей à la „Неделя“? Уже и в первой статье есть достаточно разных недоразумений и даже прямых глупостей. Впрочем, если автор так же великолепно знает всю литературу 60-х и 70-х годов, как стихотворение Добролюбова „Пускай умру“, безбожно им перевираемое, то все эти недоразумения станут вполне понятными»⁷¹. Затем из Парижа в редакцию «Русского богатства» пришло письмо от народовольца Л. Э. Шишко: «В настоящую минуту я очень увлечен статьею по поводу поверхностной и возмутительной болтовни Евг. Соловьева о 70-х годах. Эта тема чрезвычайно волнует меня, и я надеюсь прислать Вам не лишенный интереса очерк»⁷².

В печати первым выступил Михайловский, отметив, что «всестороннему обсуждению» относительно недавнего прошлого препятствуют «обстоятельства времени и места»: «Будущий историк этих годов, которому не придется жаловаться на неполноту их «dossier», может быть, сурово осудит их ошибки и увлечения», но «вздорная» работа Соловьева, «ухарски джигитующего по усеянному мертвыми костями полю», вызовет у него лишь «изумление и негодование»⁷³.

Несколько позднее в своей, по характеристике Блока, «односторонней истории литературы» XIX века (V, 218) Е. А. Соловьев напишет о «полюемическом жестокосердии» Михайловского, «уступающем разве жестокосердию Добролюбова или Чернышевского»⁷⁴.

Не одобрял «тона» Михайловского и близко стоявший к «Жизни» Горький, однако он послал редактору журнала письмо (несохранившееся), о содержании которого можно судить по ответу В. А. Поссе 20 ноября 1899 г.: «Ты не прав, восторгаясь Михайловским и нанося свой удар Соловьеву, которого травят безбожно и несправедливо. Надо по крайней мере два раза прочитать все «Семидесятые годы», прежде чем так нападать, как нападаешь ты». Однако уже через два дня редактор «Жизни» в своих письмах к Горькому отказался от защиты Е. А. Соловьева. 22 ноября 1899 г.: «Может быть, к Михайловскому я не прав. Чувствую, что защищать Соловьева трудно». 2 декабря 1899 г.: «Не сыграл бы Соловьев для „Жизни“ роли Волынского»⁷⁵. Сам чувствую, что пишет он складно, а толку нет»⁷⁶.

В ноябрьском номере «Русского богатства» за 1899 г. выступил Короленко со статьей «О сложности жизни», которую Горький назвал «превосходной», «лучшей его публицистикой»⁷⁷. Причем «мягкосердечная» позиция Короленко надежно подкрепляла «жестокосердие» Михайловского. По трактовке Королен-

ко, человек 60-х и 70-х годов — это «воистину человек». Признавая закономерность «постоянного и ежеминутного» рождения «элементов нового мировоззрения», Короленко напоминал, что «живая почва» для этого роста неизменно «остаётся одна на протяжении всей сознательной истории человечества. И это одно — «человечность», постоянный рост человеческой личности (<...> что так сильно изображено еще в статьях Н. К. Михайловского „Борьба за индивидуальность“ и что, я уверен, останется всегда *общей* задачей передовой русской печати...»⁷⁸.

Затем в полемику вступила (разумеется, под псевдонимами) старая гвардия «Народной воли» в лице Л. Э. Шишко, входившего в Лондонскую группу «Фонда вольной русской прессы», и Н. С. Русанова, основателя парижского «Кружка старых народовольцев».

Первый упрекал Е. А. Соловьева в игнорировании связи между поколениями, в попытке изолировать 70-е годы «из цепи тех явлений, в которых выражалось главное прогрессивное течение русской общественной мысли». Между тем если бы критик «обратил надлежащее внимание на историческую преемственность идей 70-х годов, то он увидел бы, что эта вера в народные массы как источник общественного возрождения лежала в самой основе мирозерцания „Современника“...». «Вера в силу личности» также воспринята из 60-х годов, в частности от Добролюбова⁷⁹.

Н. С. Русанов назвал позицию Е. А. Соловьева «до некоторой степени антитезой русского идейного движения 60-х и 70-х годов». Между тем «наиболее живые и энергичные» представители лагеря марксизма видят, что «между предшествующими поколениями и современным есть нечто общее, а именно конечный идеал», и «начинают считать себя даже продолжателями прогрессивных традиций прошлого, в котором «мы добывали крупницы истины», «ошибаясь и исправляя ошибки и снова ошибаясь и снова внося жизненные поправки в наше теоретическое мировоззрение». «Конечно, был и аскетизм, были и страдания, но эта сторона совершенно тонула в жизнерадостном энтузиазме, в наслаждении борьбой...». Семидесятники знали «цену жизни», и, в частности, любовь была в их сознании «одной из величайших и интенсивнейших радостей жизни, острота которой только увеличивалась благодаря общему трагизму положения»⁸⁰.

В. А. Поссе написал Горькому об одной из статей Н. С. Русанова: «Он, в конце концов, наклевет на нашего Андреевича»⁸¹.

Этический идеализм, воспринятый от семидесятников, видел в жертве высокий нравственный смысл. Короленко не одобрял террора и «химических средств», но тех, кто во имя идеала идет на гибель, он называл «освященными вершинами», поддерживающими веру в человеческую природу. В своем архиве он хранил фотографию Ивана Каляева. Мотив самопожертвования встает в рассказе Короленко «Мороз» («Русское богатство», 1901, № 1), который появился в разгар полемики с теми, кто чересчур увлекался самодовлеющими экономическими законами и готов был рассматривать борьбу народовольцев (а заодно и всякий альтруизм) как бессмысленную жертву. Смертельные оковы сибирского мороза (отчасти реального, отчасти метафорического, как и Пан-Мороз в «Возмездии») способны не только «заморозить совесть», но и толкнуть на жертвенный поступок, причем его совершают и политические ссыльные, и человек из народа. Даже абсолютно бессмысленная жертва одного из героев заставляет склонить голову: не зная дороги и не дожидаясь лошадей, при подымающемся сибирском ветре он вышел на помощь замерзающему, прошел «удивительно много и... не оступился ни шагу, пока...». Там, где он погиб, встал в тайге «большой каменный крест» — место душевного очищения для оставшихся жить. «В „Морозе“, например, — писал Короленко, — нравственная оценка факта совсем не в достижении определенного результата и не в жалости»⁸². Короленко знал историческую и нравственную цену людей, которые «погибали, но не гнулись»⁸³. В рассказе «Не страшное» («Русское богатство», 1903, № 2) есть вставная новелла о семидесятнике, который отошел от своих товарищей (имелись в виду народовольцы), ибо они «голыми руками за колеса истории хва-

таются». Но ирония Короленко направлена не на тех, кто «хватается», а на тех, кто «отошел» и кончил бессмысленным накопительством и бессмысленным самоубийством.

Знаменательное совпадение с «Возмездием»! «Последний первенец» «готов ухватиться своей человеческой ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него...» (III, 298). Ему суждено воплотить «волю к подвигу» (III, 473) и «взойти на черный эшафот» вслед за теми, кто «бессмысленно» погиб у истока «Возмездия»:

К чему мечтою беспокойной
Опережать событий строй?
Зачем в порядок мира стройный
Вводить свой голос бредовой?

.....
Зарыты в землю бунтари,
Их голос заглушен на время.

(III, 465—466)

Авторская ирония, как и у Короленко, имеет обратный заряд: она направлена против «теорий прогресса», игнорирующих человеческую личность. У Короленко и у Блока безрассудство тех, кто погиб под колесами истории, как раз и оказывается вписанным «в общий смысл жизни» («Не страшное» Короленко) или в нарастающий мотив возмездия.

«Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее...» (VII, 135), — записал Блок 24 марта 1912 г. и пометил: «Страстная суббота». 70-е годы были героической, «страстной» порой в жизни русского общества, когда умели глядеть вдаль.

Главным хранителем народовольческого Грааля в редакции «Русского богатства» был П. Ф. Якубович, сказавший о себе: «Я пою великие страданья // Поколенья, проклятого богом!». В стихотворении «У сфинксов» («Русское богатство», 1903, № 3) он зашифровал от цензуры то, что можно было отгадать без Эдиповой мудрости: лики С. Перовской и А. Желябова:

В маленькой шапочке, в кофточке тонкой
Девушка, с обликом нежным ребенка,
В полосу света бесшумно вошла;
Юноша рядом — со взглядом орла.

Он говорил, улыбаясь светло:
«Нет, бескорыстные жертвы не тщетны!
Это сгущается мрак предрассветный...»

.....
Вспыхнуло что-то во мраке душевном,
Бурно прошло дуновением гневным...
Словно вперед я сумел заглянуть —
В темную ночь на грядущий их путь.

Заметим, что и Блока влечет «туда, где в море сфинкс глядит», где взор уходит вдаль, а мысли — к будущему:

Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?..
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...

(III, 330)

И Блок высветит из темноты «большой ребячий лоб» и «голубоглазый детский лик» «ребенка в черном платье», глядящего вдаль:

Но, как бы что найдя за далью,
Глядит внимательно, в упор,
И этот милый, нежный взор
Горит отвагой и печалью...

(III, 312)

Разумеется, не в подражание Якубовичу это написано — просто они видели одну и ту же фотографию Софьи Перовской. Гораздо важнее то, что оба это лицо избрали и оба смотрели на него с одинаковым чувством «сораспятия».

Михайловский уговаривал описать «драму жизни» народовольцев автора «Песни о Соколе»⁸⁴, а сделал это автор «Стихов о Прекрасной Даме»... И сделал так, будто оспаривал утверждение Е. А. Соловьева о «компании угрюмых пуритан»:

Как будто — свадьба, новоселье,
Как будто — всех не ждет гроза, —
Такое детское веселье
Зажгло суровые глаза...

(III, 313)

«Запросы человеческой личности» и «цена жизни» здесь действительно другие, необычные. Но именно о тех, кто, болтая о «грядущих поколениях», цепко держится за «личное счастье», Блок написал:

Но им навеки не понять
Тех, с обреченными глазами:
Другая сталь, другая кровь —
Иная (жалкая) любовь...

(III, 318—319)

Эти строки не дошли до «стариков» из «Русского богатства». Но нетрудно представить, какое впечатление они произвели бы на Михайловского и Якубовича.

Темы «страдания», «жалости», «долга перед народом» были завещаны «старобарской», по терминологии Е. А. Соловьева, культурой вовсе не одним 70-м годам и не ими одними продолжены и развиты. Правда, на рубеже XIX—XX вв. по ряду причин все эти мотивы попали в разряд «старой морали», а новое поколение с односторонней увлеченностью стало воспевать культ силы и радости. Михайловский в своих статьях многократно предостерегал от абсолютизации этого культа: «Нашему времени предстоит восстановить мораль господ, — с насмешкой писал он в 1898 г., — (она же, значит, мораль „селекционистская“ или „научная“), произвести „переоценку всех ценностей“, признать „доброту“ злом, а „злость“ добром, упразднить любовь к ближнему и заменить ее „любовью к дальнему“». Дальние это наше потомство, будущее человечество, которое станет более совершенным, если мы откажемся от покровительства слабым и дадим ход сильным»⁸⁵. С такой же иронией отзывался Якубович на страницах «Русского богатства» (1903, № 6 и 12) о «демоническом» бунте против «старой морали», который подымался в изданиях «Скорпиона» и «Грифа». А в своем письме к Михайловскому от 25 сентября 1895 г., требуя «оправдания Бодлера», писал: «Признаюсь откровенно, что даже и культ страдания («Благословение», «Неожиданное» и др.), который Вы, Николай Константинович, отметите, вероятно, неодобрением, действует на меня в Бодлере чарующим образом:

Благословен Дающий нам страданья,
В пустыне зол источник вод живых!
Как сталь в огне, в горниле испытанья
Наш крепнет дух для радостей святых»⁸⁶.

Михайловский в ответ предложил написать статью о Бодлере для «Русского богатства».

Короленко в «Не страшном» вывел фигуру «кроткой» женщины из простонародья, заметив: «самым умным во всей этой запутанной истории» были «глупые слезы» этой молчаливо страдающей женщины, ибо «страдание... ведь оно удивительно умное всегда, даже у птицы...» («Русское богатство», 1903, № 2).

В устах такого «бодрого» художника, как Короленко, напоминание о том, что искусство немислимо без темы страдания и сострадания, было особенно убедительно. Блока и не нужно было в этом убеждать. В 1911 г. он написал о рассказе Л. Толстого «Алеша Горшок», в котором с пронзительной жалостью изображена короткая и самоотреченная жизнь крестьянина, не посягавшего на «личное счастье»: «Гениальнейшее, что читал...» (VII, 87).

Разумеется, не семидесятники или народники набросили «мрачную, пугающую тень» на русскую литературу. Воспевая в «Розе и Кресте» самоотречение и «боль неизведанных ран», Блок опирался на гуманистический завет всей мировой культуры. Не только бекетовский, но и соловьевский урок звал сохранить эти традиции. В «компанию угрюмых пуритан» следует зачислить прежде всего ибсеновского Бранда, сурового проповедника, избравшего скалистый берег нужды и лишений. «Творчество Ибсена говорит нам, поэт, кричит, что ритм нашей жизни — долг» (V, 238). Так писал Блок в статье «Три вопроса» (1908), где рядом с именем Ибсена стояло имя Михайловского, во все времена проповедовавшего «благое иго» или «легкое бремя» собственного решения и решимости.

И в XX в. эта «старобарская» традиция будет продолжена. Марина Цветаева, назвавшая Блока «последним рыцарем», а себя «единоличным бойцом»⁸⁷, напишет цикл «Отцам» (1935), обращаясь к поколению прошлого века:

Поколение, где краше
 Был — кто жарче страдал!
 Поколение! Я — ваша!
 Продолжение зеркал.

Ваша — сутью и статью...⁸⁸

4

Михайловский не был знатоком поэзии (любил Лермонтова и Некрасова ценил Баратынского) и даже не причислял себя к профессиональным литературным критикам, с излишней категоричностью полагая, что «со времен Белинского у нас был только один литературный критик, Добролюбов», умевший соединять «красоту мысли и слова»⁸⁹. Себя Михайловский называл «самым журнальным журналистом»⁹⁰ и «человеком, посевшим на литературе»⁹¹. Последнее позволяло ему порою делать интересные общие наблюдения и давать оценки, лишённые односторонности. Именно таким было его отношение к символизму в целом, о чем забывают и те, кто ставит ему в заслугу «борьбу с декадентщиной», и те, кто считает его рутинером, ничего не понявшим в новом течении. В 900-е годы некоторые критики (К. Чуковский, А. Глинка-Волжский, П. Пильский) признавали, что первый серьёзный анализ символизма дал Михайловский в начале 90-х годов. Е. А. Соловьев, бывший одно время постоянным сотрудником библиографического отдела «Русского богатства», оставил интересное свидетельство о том, что Михайловского «тянуло» к «чистому» искусству, «многим приходилось жертвовать для журнала собственно», ибо Михайловский придерживался прежних «суровых и строгих правил журналистики». Однако эта позиция «никогда не переходила в брюзжание, в отрицание „наотмашь“ всего нового, молодого...»⁹².

Интересы молодости были близки Михайловскому (у него росли два сына, постоянно жил племянник). 30 марта 1902 г. он писал Н. С. Русанову: «Молодежь хорошая есть, даже много ее, быть может, даже большинство. Но не говоря об обостряющемся в ее среде расколе (в петербургском университете происходили безобразнейшие сцены, даже до драки, между „обструкционалистами“ и их противниками), но это народ пока безымянный, серый, рядовой. Выдающиеся декадентствуют, нищепланствуют, устраивают альянсы с попами и проч., и для

всех их „пошлый опыт, ум глупцов“ представляют старики нашего типа <...> Что же касается вообще распри между стариками и молодыми, отцами и детьми, то я сказал бы, что ее теперь нет. Формы, в которых проявляют себя старики, конечно, не те, что у молодежи, но мы в настоящее время переживаем момент такого единения молодых и старых (не мещерских, конечно) сердец, что натравливать их друг на друга — не политично»⁹³.

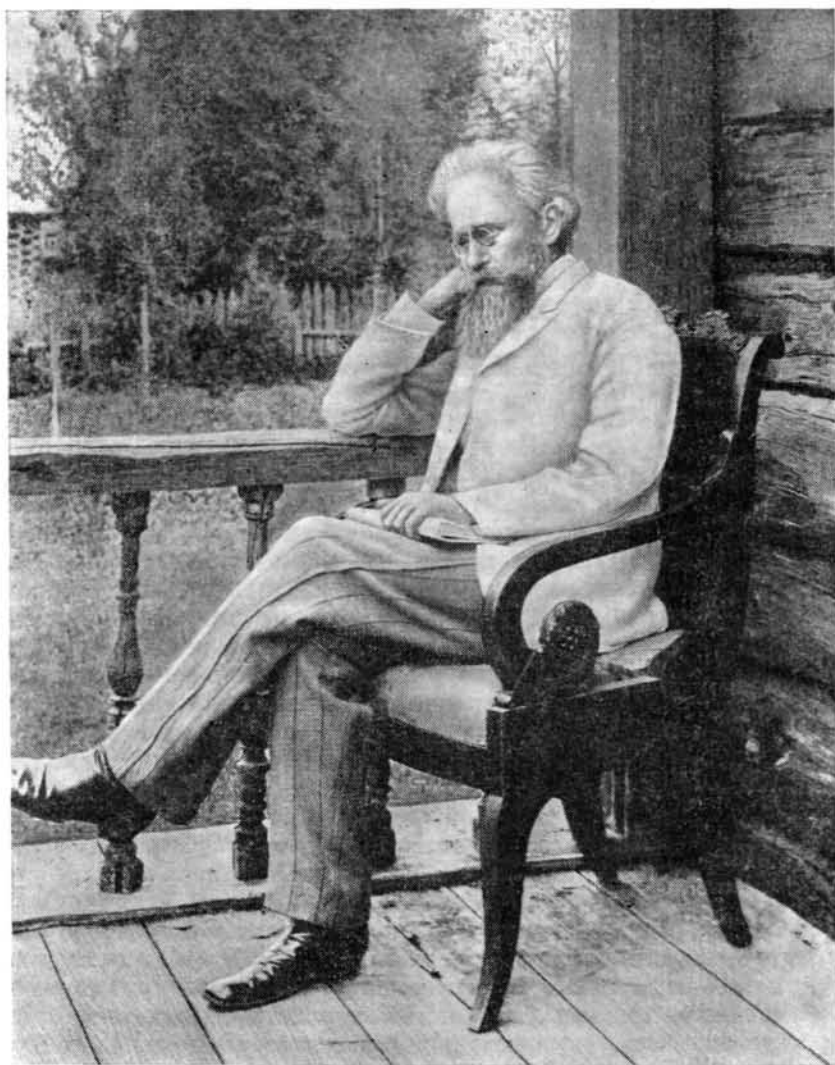
В том же 1902 г. один из выдающихся — студент Александр Блок — работает над статьей о русской поэзии, выделив четыре имени (Тютчев, Фет, Полонский, Вл. Соловьев), как раз тех, кого причисляли к «чистой» поэзии. Среди источников он пометил: Михайловский. «Литературные воспоминания и современная смута», т. II, 1900 (ЗК, 27). В это издание входили статьи о М. Нордау, Ф. Ницше, «Русском отражении французского символизма» и другие, причем все эти сложные явления оценивались отнюдь не по стандартам «либеральной жандармерии» (определение Блока)⁹⁴. А в 1908 г. Блок напишет о молодежи, посещающей вечера «искусств», со своей обычной бесстрашной искренностью: «По моему глубокому убеждению, — *лучшая* часть публики та, что аплодирует «скверным стихам с „гражданской“ нотой» и «шипит» на «хорошие стихи без гражданской ноты» (V, 305).

Эти как бы идущие навстречу друг другу признания Михайловского и Блока знаменательны. Применив метафоры Блока, можно назвать народнический лагерь «берегом скалистым», где действовали законы «долга» и «пользы», слишком суровые для «соловиного сада» русской поэзии. Однако это противостояние не являлось мертвым окостенением, исключаям всякие живые связи и всякий взаимный интерес. «Чужой» не всегда обозначает «враждебный», — писал Михайловский в 1881 г., — равно как «свой» не есть непременно синоним «дружественного», но порою «отчужденность» является «большим несчастьем» для обеих сторон⁹⁵.

Более того, можно проследить медлительный и противоречивый процесс сближения, возможный, как писал Блок, лишь на «вершинах», там, где «подают друг другу руки заклятые враги: красота и польза» (V, 237). На эти вершины художника ведет «голос долга» — «радостный и свободный должный путь», на который зовут его Михайловский и Ибсен. Поставить эти два имени рядом мог человек, читавший Михайловского. В 1896 г., в связи с выходом первого собрания сочинений Ибсена на русском языке, Михайловский назвал творчество норвежского драматурга «большой книгой об „ответственности человека“,» которая учит «пранию против рожна необходимости», т. е. борьбе⁹⁶. «Никогда не согласимся мы, профаны, — писал Михайловский в 1894 г. — на такое разделение труда между жизнью и искусством, чтобы на долю первой приходились „бедствия“ и „слезы горькие“, а искусство свелось бы на „чарование красных вымыслов“ <...> Положим, что господа художники нас не спросят, но дело-то в том, что и сами они, по крайней мере наиболее талантливые из них, вовсе не обнаруживают исключительного стремления замкнуться в область чарованья красных вымыслов»⁹⁷. Однажды, устав от «вопросов» о назначении искусства, которые в конце концов дошли «до совершенной разжеванности», он написал: «Не будем спорить. Но верно то, что на литературных престолах сидят только те, кто умеет возбуждать негодование или добрые чувства в читателе»⁹⁸.

Каждое десятилетие снова ставит и снова дает ответы на «разжеванный вопрос» о взаимоотношении мира искусства и мира жизни. Блок умел говорить «не во имя *одного* из этих миров», а «во имя *обоих*» (V, 481). Его позиция подтвердила принцип литературного «престолонаследия», провозглашенный «профанами»:

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.



Н.К. МИХАЙЛОВСКИЙ

Фотография, 1900-е годы, Селище Костромской губ.

Литературный музей, Москва

В 1908 г., когда Блок начал трудный путь среди «скал должного», для него «старая русская жвачка» была гораздо «вкуснее» и «питательнее», чем новая (V, 339 и ЗК, 114): «Да, не только *интересно* или *любопытно* <...> нет, все примете вы к сердцу, всякая фраза — лишний повод для тревог, сомнений, надежд, разочарований, для того чтобы выскочить на улицу и бежать к знакомому полуписателю, полубывателю, делиться с ним открытием десятка-другого Америк то у Лермонтова, то у Михайловского, а то и у того и другого одновременно <...> мы любим русскую литературу, мы не отдадим уже никогда более ни Пушкина, ни Глеба Успенского ⁹⁹ <...> точно так же, как мы сейчас, в 1908 г. в Петербурге, от мокрых сумерек до беззвездной ночи горели огнем бескорыстной любви и бескорыстного гнева, — точно так же горели этим огнем в том же Петербурге, и, надо полагать, в те же часы, — в 40-х годах — Герцен и Белинский, в 50-х — Чернышевский и Добролюбов, в 60-х ... и т. д., и т. д.» (V, 335).

Следуя за ходом мысли Блока, можно назвать это «старой жвачкой», а можно и вечным духовным бодрствованием русской интеллигенции, которая не под-

дается усыпляющим напевам индийской нимфы «Пора-спати», ибо сон будет означать «конец исторического процесса и русской литературы» (V, 338). Такие «современные идиллии» на мотив «Спите! Бог не спит за вас!» уже были в русской истории, но всякий раз находилась «звонарь», призывающий: «Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду...» (Короленко. «Тени»), и всякий раз на призыв «старого звонаря» («Присылайте на смену!») являлся новый посланник и удалялся в колокол искусства:

Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

(II. 123)

Но эти преемственные ряды видны издали; в представлении современников чаще живет ощущение, что «распалась связь времен» и воцарилась «литературная смута».

5

В конце 1907 г. Блок написал, что «в те блаженные времена, когда в квартире Н. А. Некрасова на Литейном проспекте велись горячие споры в демократическом папиросном дыму», «не потерпели бы» современного «Русского богатства» как, впрочем, и современного модернизма (V, 220). В шахматовской описи значится «Русское богатство» за 1904 и 1907 гг., следовательно, Блок судил на основании свежего знакомства с журналом, редактором-издателем которого был Короленко. Это имя появлялось почти в каждом номере за 1907 г. (печаталось продолжение «Истории моего современника»; известная статья «Сорочинская трагедия» и многое другое¹⁰⁰). Сам Короленко воспринимал некрасовскую журнальную традицию как родственную. 9 февраля 1909 г. он написал, что направление «Русского богатства» «мы вели преемственно от «Современника» и «Отечественных записок»»¹⁰¹.

Все содержание «Русского богатства» — своего рода «притча о Ермолае трудящемся» и его «заступниках», что, кстати, нашло отражение в пародийной программе журнала, написанной Блоком в 1905 г. В ней фигурируют и «тяжесть крепостного права», и «деспотизм московских царей» и прочее в том же духе. Любопытно, что своих близких (мать, жену и тетку) Блок отнес именно к этому журналу, а себя — к органам модернизма. В программе упоминаются: «студенческое общежитие имени пострадавшей курсистки Менделеевой, вышедшей замуж за консерватора», «приюты, облагодетельствованные А. А. Кублицкой-Пиотух», статья М. Бекетовой, в которой слово «народ» пишется курсивом и с большой буквы, исследование Л. Блок «Баратынский — народный плакатель» (VII, 445). Шутка шуткой, а менделеевско-бекетовские корни уходят в лагерь народничества...

И «русские богачи» порою шутили над своей ролью «плакателей» и «пристрастием к каталажке»: «Может быть, действительно, я придираюсь, — писал Короленко в 1911 г. А. В. Пешехонову, — вследствие идиосинкразии: наболели уж у меня эти «ужасы жизни» и то, что авторы волокут к нам исключительно только виселицы да смерть. Как женить кого, — так в другом журнале, а задушить, повесить, свести с ума — тащи в «Русское богатство», как на бойню»¹⁰². Такая одноцветность содержания могла утомлять, но не могла служить поводом для противопоставления «Современнику». По-видимому, Блок имел в виду другое. Некрасовский «Современник» — это молодость русской демократии, период штурма и натиска со всеми его резкими и яркими красками, а «Русское богатство» — зрелость, или, в восприятии Блока, старость. А духовный максимализм юности был ему ближе, чем спокойный и уравновешенный тон, без юношеского эмпаса, как определял Михайловский. Блок заметил, что Михайловский ставит вопрос «зачем?» (перед искусством) недостаточно решительно, с «семидесятилетним недоверием и неверием» (V, 236). И действительно, в 60-е годы ко многим проблемам эстетики подходили радикальнее, чем Михайловский

тридцать и сорок лет спустя, когда опыт научил его некоторой осмотрительности в суждениях о литературе.

В 1908 г. Блок «мечтает о большом журнале с широкой общественной программой» (VIII, 253), «о журнале с традициями добролюбовского „Современника“» (ЗК, 113). Заметим, что он упомянул самого юного члена редакции, обычно «Современник» называли журналом Некрасова и Чернышевского. В эти же годы Короленко вспоминал, что после закрытия «Отечественных записок» Михайловский мечтал „создать продолжение“ их, восстановив «великую журнальную традицию от «Современника»»¹⁰³. При всех различиях позиции мечта устремляется к общему истоку.

Блок писал, что в нем есть «шестидесятническая» кровь (VIII, 406), но не всегда и не все в 60-х годах ему было близко, как, впрочем, и «русским богачам». В 1919 г. Блок назвал шестидесятничество «одичанием» (VI, 141). Его не устраивало прямолинейно утилитарное отношение к поэзии, господство позитивизма, были «омерзительны» приемы М. А. Антоновича, называвшего Писарева «бессовестной рожей», и т. п. (V, 340). Да и самого Писарева, «оравшего» на Пушкина, Блок как будто не жаловал, хотя написал: «у Пушкина были гениальные хулители» (V, 635), имея в виду, конечно, Писарева. К святыне 60-х годов да и всей русской демократической интеллигенции — Белинскому, этому, по словам Блока, «романтическому, до сих пор воспоминательному, критику» (V, 551), поэт относился с устойчивым предубеждением¹⁰⁴.

В 1915 г. Блок написал, что вся русская критика (кроме Ап. Григорьева) «от Белинского и Чернышевского до Михайловского и ... Мережковского» «прямо или косвенно» склонялась к формуле «сапоги выше Шекспира» (V, 490). Между тем Михайловский еще в 1881 г. заметил: «Пора бы этот вздор насчет сапог и Шекспира бросить. Говорить, что сапоги выше Шекспира (если это когда-нибудь кто-нибудь говорил), столь же нелепо, как утверждать, что Шекспир выше сапог: Шекспир сам по себе, сапоги сами по себе, и никакому сравнению они не подлежат»¹⁰⁵. Однако в 1888 г. признавал, что «старинная параллель между Шекспиром и сапогами, при всей своей нелепости, имела некоторый смысл как аллегория»¹⁰⁶.

Ритористов и любителей «сильного лексикона» (по слову Короленко) в «Русском богатстве» не жаловали. Еще в 1888 г. Короленко предостерегал редакцию «Северного вестника» от поспешного сближения с Антоновичем, а в 1898 г. записал весьма двусмысленно звучащую «похвалу» Чернышевского Антоновичу как «удобному сотруднику». И добавил, что, оставшись «без указки» Чернышевского, Антонович «развел такую „журналистику“ в „Современнике“, что хоть святых вон неси», с «Писаревым стал ругаться, как извозчик...»¹⁰⁷.

Осенью 1892 г., когда в «Русское богатство» был приглашен Михайловский с правами главного редактора (вскоре он ввел в редакцию Короленко и Н. Ф. Анненского), со страниц журнала исчезли многие «столпы» былых времен (М. А. Антонович, Н. Н. Златовратский, П. В. Засодимский, А. М. Скабичевский и т. д.). Придав «ярко радикальный», по определению Короленко, общественный характер журналу, новая редакция стремилась более гибко подходить к проблемам искусства, а полемике вести по существу, избегая «непрестанных рыканий» в духе М. А. Протопопова¹⁰⁸, который считал себя несгибаемым шестидесятником. В 1895 г. Михайловский писал Протопопову: «Я не могу, к сожалению, напечатать Вашу статью, Михаил Алексеевич. Она вообще очень невыдержанна и ее, как и две последние Ваши статьи, не следовало бы печатать ради Вашей литературной репутации. Но есть и другие, редакционные мотивы. Что бы ни говорили Белинский и Писарев, а мы не можем так огульно осудить всех не первостепенных поэтов...»¹⁰⁹. Те же «редакционные мотивы» звучат и в письме А. И. Иванчина-Писарева Михайловскому 30 июня 1896 г.: «Мельшин насмешил своим разбором «Студенческого сборника»: Як. Полонского — бац! — в морду; Майкова — бац! бац!.. <...> И студентов расколотил вдребезги. Вообще не писал статью, а дрался, немилосердно бил всех прикосновенных к „Сборнику“» «увесистой сибирской оглобл ей»¹¹⁰. Якубович отбивал ссылку и счи-

тал нужным писать «сердитые рецензии» в духе радикальных журналов своей юности.

Оставив в стороне «нерассуждающую ортодоксию», по слову Короленко, группа «критического народничества» старалась искать пути усложнения мысли.

В 1892 г. Иванчин рекомендовал Михайловскому «мыслящего провинциала» П. П. Перцова, который своей «специальностью» называл умение «браниться»¹¹¹. Позднее в широко известных «Литературных воспоминаниях» Перцов изобразил себя поклонником истинного искусства в стане «направленческого утилитаризма». Действительность, однако, не совпадает с этой мемуарной версией, даже если опираться только на письма самого Перцова, а последовательное «восхождение к первоисточникам» подтвердит точность дневниковой записи Короленко от 23 ноября 1893 г.: «Несмотря на всю ревность, с какой он старался попасть в тон Михайловского и Протопопова», Перцов вынужден отбыть обратно в Казань, где его «младенчески нахальное невежество и развязность» нашли временный приют в «Волжском вестнике»¹¹². Наиболее прочно осел Перцов в газете «Новое время» (1899—1917), которую Блок называл «помойной ямой».

А в начале 1895 г. Перцов познакомил А. Г. Горнфельда с редакцией «Русского богатства», высказав ироническое пожелание: «Дай бог, дай бог, нашему теляти да волка поймать»¹¹³. Михайловский предложил «приглядеться» друг к другу и скоро вынес определение: «Умница»¹¹⁴. Его не смутило то обстоятельство, что Горнфельд считал себя «индивидуалистом» и даже «пугал» тем, что может «разрешиться каким-нибудь „Опытом о гениальности Фета“»¹¹⁵. Замечу, что Перцов в пору своего ученичества в «Русском богатстве» всячески подчеркивал, что считает своей «столбовую дорогу нашей журналистики, которая ведет от Белинского, через Добролюбова и Чернышевского» к «другу Некрасова и Салтыкова» — Михайловскому¹¹⁶. Но это ему не помогло: для Михайловского якобы чужой оказался ближе, чем якобы свой. 17 мая 1895 г. Горнфельд сообщил Перцову о важной беседе с Михайловским: «На свидании он сказал: «Не скажу, что не согласен с вами; но это большие вопросы, *теперь* в них тяжело копаться». Иначе: протопоповщина претит и мне, но мне негоже идти навстречу акимовщине (т. е. Акиму Волынскому.— М. П.); понемножку, однако, и с должной дипломатичностью возможно отказаться от старых крайностей школы»¹¹⁷. В 90-е годы Михайловский не раз напоминал о том, что «новые слова» необходимы и трудны, их нельзя произносить с легкой мыслью и легким сердцем, разрывая с прошлым.

Блок принадлежал к другому поколению. Прошлое уже не являлось для него тормозом. «Завещано развитие, а не топтание на месте», провозгласил он в 1906 г., имея в виду в данном случае символистов, для которых это «топтание» «страшнее», чем для «позитивистов» (V, 608). Чувство преемственности воспринималось Блоком в живом развитии. Новая гражданственность, писал он в 1910 г., «вовсе не некрасовская, но лишь традицией связанная с Некрасовым» (V, 431). Все дело в мере и такте. Поэтому и не встречала сочувствия Блока деятельность А. Волынского, ругавшего «всех поголовно» (V, 633); его сочинения с их легковесным и шумным отречением от наследия старой русской критики Блок причислял к «словесному кафешантану» (V, 212).

Исторический такт был свойствен человеку, которого Блок считал своим учителем, — Вл. Соловьеву. В 90-е годы Вл. Соловьев отдавал должное Чернышевскому и называл Писарева «замечательным писателем»¹¹⁸. Были и другие «точки общего схода» между Михайловским и Вл. Соловьевым: пафос человека, стремление основать эстетику на фундаменте этики (хотя, конечно, «начала добра» у них были различные). Было и личное общение, недостаточно еще изученное. Вл. Соловьев хлопотал о возвращении в Петербург Михайловского, высланного в апреле 1891 г., после похорон Н. В. Шелгунова¹¹⁹. Вл. Соловьеву случалось помогать «Русскому богатству» в цензурных делах. Так, А. Г. Горнфельд писал родным 4 мая 1898 г. о своей статье «Поль-Луи Курье»: «Поздравьте: первая половина статьи прошла и печатается. А все спасибо Влад. Соловьеву, который о ней хлопотал. Вторая половина теперь в цензуре»¹²⁰.

На страницах «Русского богатства» в 1895—1898 гг. начала свою литературную деятельность сестра Вл. Соловьева — Поликсена Сергеевна, которую Блок отнес к разряду людей, находящихся «близь души» (ЗК, 309). Она писала в своей автобиографии: «Только в 1895 г. благодаря счастливой случайности стихи мои попали к Н. К. Михайловскому» и стали печататься под псевдонимом «Allegro». «Михайловский говорил мне, что некоторые заподозрили, что это он сам стал писать стихи, прикрываясь музыкальным псевдонимом»¹²¹. В редакционном некрологе «Русского богатства» говорилось о «блестящем литературном даровании, выдающемся уме и недожиганном художественном таланте» Вл. Соловьева, о его «вере в достоинство человеческой природы» и о «глубоком уважении к духовной свободе личности»¹²².

И для Блока заветы Вл. Соловьева — это заветы русского гуманизма (V, 608). Таким образом, не только в стадии бекетовской тезы, но и в стадии соловьевской антитезы можно обнаружить моменты близости и оценить глубину замечания Блока, сделанного в 1910 г.: «„Стихи о Прекрасной Даме“ — уже этика, уже общественность <...> Личность выше художника. Этим утверждается уже все дальнейшее» (ЗК, 168).

В 90-е годы союз этики и эстетики оспаривался с самых разных позиций золаистами, натуралистами, пантеистами, модернистами, легальными марксистами и др. В большом ходу были термины «научная критика» и «объективное творчество». «Строгую научность» приписывал себе П. Д. Боборыкин, полагавший, что «авторский субъективизм» и «моральные запросы» все более и более «мешали» Диккенсу достигнуть «художественного совершенства»¹²³.

Блок иначе смотрел на взаимоотношения искусства, науки и этики. «...Мы не ученые, — писал он в 1910 г., — мы другими методами, чем они, систематизируем явления...» (V, 443). А в 1920 г. напоминал, что «искусство неразложимо научными методами, что искусство и наука суть области, глубоко различные в самой сути своей» и поэтому тщетны усилия теоретиков «взнуздать искусство, засунув в стиснутые зубы художнику мунштук науки» (VI, 151). В начале века один из таких теоретиков в полемике с Михайловским писал: «Творческий процесс в науке и искусстве является аналогичным не только по своему механизму, но и по той конечной цели и средствам, при помощи которых достигается желанный эффект». Ему было «ясно, что этическая точка зрения совершенно непригодна для оценки художественного творчества»: «Ведь не пристают же гг. субъективисты со своими этическими запросами к ученому астроному, спокойно наблюдающему движение небесных светил»¹²⁴.

Михайловский, однако, «приставал» и к ученым, и к науке, особенно, когда она, как писал и Блок, «лезла не туда, куда надо» (VII, 210). В 90-е годы Михайловский указал на симптомы того явления, которое Блок назовет «крушением гуманизма». А именно: на стремление цивилизации пойти под знаменем науки «напролом», объявив природу враждебной человеку стихией, на которую надо «воздействовать», «разрубая узлы там, где их можно развязать», отбрасывая «принцип естественности» во имя селекционного «принципа изменчивости» и упоая на «полезные изобретения» науки как на панацею от всех общественных бед. Михайловский, в частности, цитирует Д. Н. Овсянко-Куликовского, полагавшего тогда, что наука без всяких нравственных учений «в далеком будущем обновит мир, т. е. человечество, именно в нравственном отношении...» Подобный вывод, замечает Михайловский, уже опровергнутый историей, делал в 50-е годы Бокль, считавший, что просвещение и цивилизация способствуют прекращению войн. Между тем «ощетинившаяся штыками Европа» «готовится к новой, еще более страшной схватке». Теориям социал-дарвинистов разных толков Михайловский предпочитал взгляды Льва Толстого — они «несравненно более соответствуют справедливости и человеческому достоинству», ибо ставят «нравственный идеал» выше «полезных изобретений» науки, среди которых есть и телефон, и телеграф, и «пушка, стреляющая на двадцать верст». Михайловский призывал людей науки «проникнуться сознанием, что наука есть лишь один из факторов жизни, бесспорно, в высокой степени важный», и «бросить мечту,

что просвещение само по себе, без всякой сторонней помощи, приведет все к наилучшему концу»¹²⁵.

Точки соприкосновения с Толстым были и у А. Н. Бекетова, никогда не забывавшего во имя науки о «нравственном идеале». В 1893 г. «Посредник» издал его брошюру «Питание человечества в его настоящем и будущем», посвященную вегетарианству. При этом В. Г. Чертков писал А. Н. Бекетову 12 мая 1892 г., что «и Л. Н. Толстой принадлежит к числу наиболее сочувственных ценителей» указанной статьи¹²⁶, а Бекетов отвечал 22 мая 1892 г.: «Радуюсь, что мой небольшой труд найден Вами и Львом Николаевичем годным для распространения здравых идей, ибо я глубоко сочувствую тем возвышенным стремлениям, что руководят всею Вашою и его деятельностью». Оплату за свой труд Бекетов просил передать на поддержание одной из столовых для голодающих крестьян, основанной Л. Н. Толстым¹²⁷.

Содержание брошюры выходит за пределы вопроса о вегетарианстве и показывает (как и весь архив А. Н. Бекетова); что характеристику из «Возмездия» («И — ярый западник во всем...» — III, 315) нельзя адресовать реальному «деду». Бекетов писал: «Нравственный идеал всего людского рода не может удовлетвориться мещанскою философией зажиточных классов Западной Европы»¹²⁸. Он думал о судьбах человечества в целом, полагая, что в своей истории оно проходит три периода: самосохранения, сохранения рода (современный период) и самосовершенствования. И добавлял: «в виду того, что от времени до времени появляются люди, принадлежащие как бы к тому желанному будущему, мы, со своей стороны, не сомневаемся, что оно наступит...»¹²⁹. Так рассуждал «идеалист чистой воды» (VII, 7). Брошюра была в петербургской библиотеке Блока.

В «Русском богатстве» появилась рецензия на брошюру А. Н. Бекетова, написанная, возможно, Михайловским¹³⁰. Рецензент выделил брошюру из «курьезных» изданий «Посредника», видящих в вегетарианстве чуть ли не путь к социальному перевороту, отметил ее строгую научность и подчеркнул оговорку автора, что «сущность дела не в том, чем питается человек, а в образе жизни»¹³¹. Через десять лет, перечисляя наиболее уважаемые имена деятелей Литературного фонда, Михайловский назвал А. Н. Бекетова рядом с Тургеневым, Гончаровым, Тютчевым, Некрасовым, Салтыковым и др. А Короленко процитировал эти слова в своей заметке «К пятидесятилетию Литературного фонда» («Русское богатство», 1903, № 10 и 1909, № 11).

«Деды» и демократы-семидесятники шли разными жизненными дорогами, но старинного «благоволения» друг к другу не теряли. Сложнее были взаимоотношения с «внуком».

6

«Теперь уже то, что растет, — растет не по-ихнему, — писал Блок о „дедах“ в плане поэмы „Возмездие“, — они этого не видят, им виден только мрак» (III, 462). С другой, дедовской стороны Михайловский признавал еще в 1889 г.: «Худы ли, хороши ли те нравы, обычаи, традиции, верования, среди которых я литературно вырос, но я привык к ним. Теперь я вижу все иное, может быть, и лучшее (хотя этого я, конечно, не думаю), но чужое»¹³². А Короленко, всегда искавший синтеза, заметил в 1901 г.: «по реакции сменяющихся поколений» у родителей-радикалов сыновья вырастают индивидуалистами, «иронизирующими над попытками отцов „обновить мир“». Однако «общее напряжение» эпохи заставляет в конце концов молодых людей гореть «теми же чувствами, какими ранее горели отцы. А последние со страхом смотрят на бурную интенсивность этого процесса...»¹³³.

Не только «старики», вроде Л. Толстого и Короленко, относились отчужденно к новой поэзии, но и сравнительно молодые Горький и Бунин. Да и нельзя требовать от современников того отношения к Блоку, к которому литературоведение подошло в последние десятилетия. Чехов в своей «Литературной табели о рангах» (1886), охватившей «всех живых русских литераторов», оставил ва-

кантной высшую ступень (автор „Войны и мира“ и „Анны Карениной“ получил второй ранг) и забыл упомянуть Фета... У современников другое зрение не только потому, что они не могут охватить целого, но и потому, что «живой литератор» вызывает и живое чувство требовательности, порою даже придиричivosti. Особенно когда речь идет о следом идущих. И Блок в этом смысле не был исключением. По глубокому замечанию Б. Пастернака, такая требовательность полезнее поэту, чем «дружественная критика, преждевременно объявляющая человека мастером, канонизирующая его в меру своих умеренных требований и больше ничего от него не желающая»¹³⁴.

В редакции «Русского богатства» самыми лояльными по отношению к молодым оказались именно «старики» — Михайловский, Короленко, Н. Ф. Анненский (у него, кстати, было прозвище — «самый юный»). После смерти Михайловского Анненский в отсутствие Короленко возглавлял редакцию и «держал за фалды» «драчунов». К последним принадлежал Якубович (у него была кличка «торопыга»). Особенно кипел он негодованием в 1908—1910 гг., когда «из гонимых и всеми осмеиваемых» символисты превратились «во всеми чтимых, признанных, для всех желанных»¹³⁵. Произошло это на фоне политической реакции: тень от нее, как и в 80-е годы, падала на всю русскую жизнь, меняя очертания предметов. «Читали ль Вы новогоднее литературное обозрение Иванова-Разумника? — восклицал Якубович в письме к Короленко от 28 января 1909 г. — <...> Теперь „Русское богатство“, по их мнению, печатает „хлам“ (в художественном смысле), настоящее же искусство перешло, дескать, в альманахи — к Ф. Сологубу, В. Брюсову и их единомышленникам... Это ведь та самая идея, которая проповедуется теперь *всей* русской критикой <...> Понемножку просачивается она даже и в среду „Русского богатства“: даже *Вы*, Владимир Галактионович Короленко, признали уже „Мелкого беса“ выдающимся художественным произведением (я стою на своем: это искусство... отхожого места! Не веет над ним дух человечности, не слышатся „незримые миру слезы“!)... А А. Г. Горнфельд в новогоднем литературном обозрении „Нашей газеты“ назвал „искренним“ ломаку Блока и высоко поставил новый стихотворный сборник Сологуба „Пламенный круг“, в котором я, грешный человек, тоже ничего не могу найти, кроме омерзительного кривлянья, — ни крупинки истинной поэзии, даже такой маленькой, которую выудил я из прежних сологубовских сборников для „Русской Музы“.

Что же это такое? Я ли, инвалид, окончательно разваливаюсь и отстаю от «движения», кругом ли меня все сошли с ума? Движение ль это вперед, или — плод политической реакции, как мне порой кажется? Ничего не могу понять, ничего»¹³⁶.

«Торопыга» был человеком редкой чистосердечности и самокритичности, знал о своей «склонности слишком с плеча все рубить»¹³⁷. В следующем письме к Короленко, 4 февраля 1909 г., он писал, настроенный на другой лад беседой с Анненским, которого любил и ценил: «Мы долго сидели вдвоем с Николаем Федоровичем и грустно беседовали о том, что современный читатель норовит как будто идти мимо «нашей группы». Почему это? Конечно, мы не можем отказаться от своих взглядов, покинуть свою позицию, — об этом и речи быть не может. Но есть тут доля и нашей вины... Мы узковаты, замкнуты, нетерпимы...»¹³⁸.

В 90-е годы, не без влияния Михайловского, Якубович стремился отрешиться от «узости». Его первым критическим выступлением в «Русском богатстве» была статья «Бодлер, его жизнь и поэзия». «Я лично не знаю другого столь чистого, безукоризненно чистого поэта, как он <...> — писал Якубович Михайловскому о любимом поэте юного Блока. — Нет, не растлевающее влияние, а напротив — возвышающее и одухотворяющее может иметь он на чистую молодую душу!»¹³⁹ Автор «Цветов зла», человек, которого считают «отцом современных декадентов», провозглашал Якубович, несет в своей душе «спасительный огонь, который освещает ему путь» к «смутному» и «неясному», «но не менее от того светлому, лучезарному и неумирающему идеалу»¹⁴⁰.

«Рыцарем живой правды» назвал Якубович в 1900 г. Вл. Соловьева, напомнив, что «лет двадцать назад голос его вызвал сочувствие передовой части тогдашнего русского общества» (имелось в виду выступление против казни народовольцев в 1881 г.). «Ведя остроумную и победоносную борьбу с российскими „символистами“», Вл. Соловьев писал стихи, «символичности которых нередко могли бы позавидовать и его противники», хотя «и критика, и публика всегда глядела на эти стихи как на стихи дилетанта». Якубович полагал, что, когда Вл. Соловьев, «спускаясь с заоблачных высот аскетизма и мистики, чувствовал себя не платоновской идеей, а человеком, сыном земли»; в его стихах звучала «неподдельная поэзия»¹⁴¹.

Якубович мечтал о поэте, «властителе дум» своего поколения, который «провет «пути некрасовской манеры» и «цепи подражания Надсону» и «выработает новую оригинальную форму». «Когда появится, наконец, желанный гений?» — восклицал он нетерпеливо в 1900 г.¹⁴² Новый «властитель» явился не с той стороны, откуда его ждали, и поэт «кандального звона» не признал его (или не успел признать, так как умер в начале 1911 г.). По случайности (или случайной закономерности) Якубович, расточая яростные филиппики против Блока в редакционной переписке, ни разу не выступил против него в печати, лишь в 1910 г. упомянул его среди поэтов, которых «нахваливает» современная критика, «злорадно-пренебрежительно» относящаяся к «гражданской поэзии»¹⁴³. В 1910 г. Блок начал писать «Возмездие». «Гражданская поэзия» вновь будет возведена в ранг высокого искусства. Перефразируя Чехова, можно сказать: «Дело не в гражданственности, а в размерах дарования»¹⁴⁴.

Мережковский сожалел в 1908 г., что русская революция совершается под «песни пигмеев», вроде таких «гимназических виршей», как «Вставай, подымайся, рабочий народ» Петра Лаврова¹⁴⁵. Этот отзыв показывает лишь цену словесной игры в «демократию» и «революцию», которую в те годы вел Мережковский. Увенчанные поэты из лагеря символизма брались и за «песни борьбы», но сочиняли лишь «холодные слова», не пригодные ни для борьбы, ни для поэзии. Песни борьбы лучше всего удавались самим борцам.

Для Блока плещеевское «Вперед! без страха и сомненья» и лавровское «Отречемся от старого мира» тоже «прескверные стихи», но это стихи, «корнями вросшие в русское сердце», их «иначе, как с кровью» не вырвешь (VI, 138). На такую вивисекцию способны лишь «презрительные эстеты», для которых вся русская жизнь и история замыкаются в «словесности». Блок стремился проникнуть и в такое «поучительное литературное недоразумение», как стихи Надсона, которые с 1887 по 1909 г. выдержали 24 издания, общим тиражом в 145 тысяч. Почему большая часть русской читающей публики требует «гражданской поэзии»? В 1908 г. Блок писал: «Всякую *правду*, исповедь, будь она бедна, недолговечна, невсемирна — правды Глеба Успенского, Надсона, Гаршина и еще меньшие, — мы примем с распростертыми объятиями, *рано или поздно* отдадим им все должное. Правда никогда не забывается, она *существенно* нужна <...> Напротив, все, что пахнет ложью или хотя бы только неискренностью, что сказано не совсем от души, что отдает „холодными словами“, — мы отвергаем. И опять-таки такое неподкупное и величавое приятие или отвержение характеризует особенно *русского* читателя. Никогда этот читатель, плохо понимающий искусство, не знающий азбучных истин эстетики, не даст себя в обман „словесности“...» (V, 278—279).

Трижды на страницах «Русского богатства» заходила речь о произведениях Блока — в 1904, 1908 и 1913 гг. (имя упоминалось, разумеется, чаще). «Стихи о Прекрасной Даме», вышедшие в канун революции 1905 г., не вызвали энтузиазма в лагере русской демократии. И в рецензии А. Г. Горнфельда говорилось, что в лирическом сборнике Блока «уродливости нового поэтического движения доведены до абсурда» и т. п.¹⁴⁶ В сущности, это был единственный «бранимый» отзыв о поэзии Блока в «Русском богатстве».

В 1908 г., накануне встречи Блока со «стариками» из «Русского богатства», член молодой редакции А. В. Пешехонов обратил внимание на статью Блока



И. П. КАЛЯЕВ

Фотография, 1905, Москва

Музей революции, Москва

«Вечера „искусств“» («Речь», 27 октября 1908 г.). Пешехонов назвал свое вну-
 „треннее обозрение «В поисках»: «Прошло два года... За это время выросла и за-
 няла всю авансцену «молодая литература». В ней, как мы знаем, царит большое
 оживление, происходит непрекращающееся движение, прокладываются, как
 нам говорят, новые пути, появляются <...> невиданные еще сочетания. Этому
 можно было бы, пожалуй, порадоваться... Но куда все-таки ведут эти пути?
 Ради чего возникают эти группы? Как обстоит дело с целями в современной ли-
 тературе?»¹⁴⁷. З. Н. Гиппиус, продолжает публицист «Русского богатства»,
 открыла некую новую «божественную реальность» и выражает желание, чтобы
 Блок „от ликующих, праздно болтающих“ ушел в эту самую „реальную реаль-
 ность“. Но ведь г. Блока и г-жу Гиппиус мы в одних и тех же сочетаниях при-
 выкли видеть, одним и тем же делом, нужно думать, они раньше занимались.
 И если то была „праздная болтовня“, то не окажется ли таковой же и реализация
 реальной реальности?»¹⁴⁸. Блок, в свою очередь, обращается «к писателям, ху-
 дожникам и устроителям (вечеров нового искусства) „с горячим призывом не
 участвовать в деле, разлагающем общество, т. е. не способствовать размноже-
 нию породы людей „стиля модерн“, дни которых сочтены“ (цитата из статьи
 Блока.— М. П.). <...> Так пишет «молодой» поэт, который, по его словам,
 „сам не раз читал на вечерах „нового“ и не нового искусства“ <...> Читал и,
 наконец, убедился, что „стихи любого из новых поэтов читать не нужно и почти
 всегда вредно“ (курсив г. Блока).

Знает ли теперь г. Блок, чего он хочет. Я не решусь сказать это про челове-
 ка, который „не читает“, но пишет. Потом, быть может, он убедится, что не

только читать, но и писать такие стихи „вредно“ <...> Может быть, и это ему дастся лишь „путем очень неприятного и слишком продолжительного опыта“, а может быть, и сразу он это сообразит. Бывает это, просияние такое»¹⁴⁹.

Последняя фраза почти цитата из Михайловского, писавшего в 1895 г. о Брюсове: «Перед ним целая перспектива жизни, и, может быть, когда-нибудь он получит „просияние своего ума“»¹⁵⁰ (в кавычки взяты слова Гл. Успенского).

24 ноября 1908 г. Блок написал матери: «В Русск. Богатстве Пешехонов отчитал меня, Гиппиус и Минского»¹⁵¹.

Все трое названы «писателями, которые ничего не желают и никуда не ведут»¹⁵². В те годы Блока еще не выделяли из «группового сочетания»; да и сам поэт осознаёт отдельность своего пути позже. И все-таки «отчитывание» уже свидетельствовало об определенном внимании: Пешехонов высказал пожелание, чтобы Блок не оказался «рыцарем на час», как Н. М. Минский в 1905 г. Прямолинейно-логические рассуждения публициста выглядели «правильно», но не совпадали с позицией художника. Блок хотел, чтобы его поэзия с присущим ей строем дошла до иных, демократических пластов русских читателей, которые пока ее плохо слышали, предпочитая традиционные «гражданские стихи». Блок не хотел быть «модным поэтом» поклонников «искусств» «со стилизованными прическами и настроениями» (V, 305). В 1906 г. он уже нашел формулу: «чтоб 1) Россия 2) услышала 3) меня» (ЛН, т. 92, кн. 2, с. 30).

В 10-е годы внутри редакции «Русского богатства» не было единой литературной позиции; публицисты держались «старой веры», критики и беллетристы были склонны к обновлению. К сожалению, первые обладали более твердыми характерами, а Короленко после мая 1913 г. в Петербурге не бывал. В начале 1913 г. редакции «Русского богатства» была предложена статья А. Б. Дермана «Об Александре Блоке». О ее судьбе А. Г. Горнфельд, заведовавший критическим отделом журнала, сообщил автору 6 марта 1913 г.: «Статью о Блоке у нас забраковали против моего голоса; я и не спорил, ибо в этом милого А. В. Пешехонова не перевоспитаешь, но внутренне плакал; статья очень недурная»¹⁵³. Короленко в Петербурге не было. Ф. Д. Крюков, только что введенный в состав редакции, видимо, еще не решался идти против публицистического ядра «Русского богатства».

Однако не будем торопиться осуждать «русских богачей», ведь до этого статья Дермана побывала в «Заветах», где уже печатались стихи Блока, и была забракована Ивановым-Разумником как «совершенно ученическая» и способная «только скомпрометировать «критико-литературный» отдел журнала» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 403). Горнфельд передал статью в «Русскую мысль», где она и была напечатана в июле 1913 г. 10 сентября 1913 г. Горнфельд писал Дерману: «Только что у меня был Гр. Як. Полонский и очень хвалил Вашу статью о Блоке»¹⁵⁴.

Статья Дермана не претендовала на философские и эстетические глубины, но говорила о Блоке языком заинтересованным и живым, обращалась к широкому кругу читающей публики и при этом исходила в главном из верных историко-литературных пропорций: «Блок один из тех поэтов, которые делают нужное дело сочетания гибкости и богатства новых форм стиха с искренностью, правдивостью и адекватностью чувства, а порой (и очень часто) с широтой идейного захвата. В этом смысле Блок с полным основанием может быть назван поэтом, пытающимся синтезировать в своем творчестве лучшее из новизны с лучшим из старины, элементы ценного настоящего с прекрасным, испытанным, традиционным прошлым»¹⁵⁵.

Летом 1913 г., после очередного конфликта с Пешехоновым, который требовал на сей раз устранить «модернистские вычурья» из рассказа Серафимовича «Со зверями», Горнфельд написал Крюкову письмо, резко поставив вопрос об эстетической позиции «Русского богатства»: «О редакционных разногласиях не могу говорить: по безнадежности. Возразить можно бы слишком многое; хотя бы: что же это за позиция, которую приходится защищать даже от Серафи-

мовича? Не сделалась ли позиция законно консервативная уже реакционной? Кто нападает на позиции литературного реализма в наши дни столь энергично, что является необходимость „править“ Серафимовича, Кондурушкина и т. п. Кто с нами, если так? Не одна ли Дмитриева? ¹⁵⁶ И в чем же проявляется наше *доверие к художнику*, которое есть залог литературного развития. Здесь без риска нельзя. А мы, как правительство: отбив революцию, боремся с проявлениями жизни.

Но все это покажется теорией тому, у кого ощущения другие, кто не хочет риска, кто удовлетворен до конца добытыми формами. Это законные ощущения — и их не победить умствованием, и оттого у меня нет пафоса для спора с нашими публицистами, для отстаивания своего. И это тем более, что нападающий на позиции всегда более рискует; ему легче ошибиться ¹⁵⁷.

У Горнфельда в редакции «Русского богатства» было прозвище «хитрый А. Г.» за уклончивость суждений. Такое письмо нужно было послать не младшему члену редакции, а ее «руководителю и духовному средоточию», по характеристике самого Горнфельда, — Короленко ¹⁵⁸.

Однако эти столкновения не прошли бесследно, и в декабре 1913 г. постоянный критик «Русского богатства» А. Е. Редько назвал Блока «русским рыцарем Вечной Женственности», «поэтом божественной жалости и любви», ставящим в «Розе и Кресте» «тему о человеческом страдании и его месте в общем плане жизни» и искусства (критик напоминал французскую пословицу: «У счастливых нет истории»). Назвав «Розу и Крест» аллегорической драмой, Редько предъявил к ней требования, пригодные скорее для психологической пьесы. И, разумеется, «иноязычная» речь Блока такому «заземлению» не поддавалась: «А. Блок не чувствует, что он убивает самую красоту страдания <...> Красота в преодолении человеческого страха перед страданием, но только ради чего-нибудь или кого-нибудь». «Оправдательные мотивы» Блока кажутся критику пригодными лишь «с точки зрения чистого индивидуализма» ¹⁵⁹. Отсутствие прямых публицистических формул помешало разглядеть «гармонию самопожертвования», по слову Гл. Успенского. Впрочем, и в лагере символистов не раз упрекали Блока за «индивидуализм», отсутствие «во имя» и воспевание «гибели для гибели».

История «невстречи» Блока и «русских богатей» имела свои закономерности, но процесс преодоления взаимной отчужденности продолжался, хотя и шел, как сказал Блок по другому поводу, «быстро для истории, томительно долго для отдельных людей» (VI, 157).

7

Единственная известная нам встреча бекетовского внука со «стариками» из «Русского богатства» произошла 12 декабря 1908 г. на докладе Блока о народе и интеллигенции. Увидев бекетовские седины и бороды, соединенные «с какою-то кристальной чистотой, доверием и любезностью», Блок почувствовал себя «любимым внуком» (VIII, 269). Короленко отнесся к выступлению молодого поэта с обычной своей доброжелательностью; он вообще был из тех, кто всегда «желает мира и сговора», как сказано в докладе Блока. Тем более что Короленко председательствовал и стремился сгладить впечатление от выступлений «глумящихся ораторов», по слову Л. Д. Блок; она же сделала важное замечание о «стариках»: «верно, что-то свое самое лучшее в нем узнали» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 342). К сожалению, это не совсем так. Лишь в нашем сознании автор «Возмездия» стал «внуком» короленковского «современника» — человека 70-х годов. И мы невольно преувеличиваем факт единения, забывая «подробность внешнюю» — письмо Короленко к В. Е. Чехихину (Ветринскому) от 24 мая 1909 г.: «О том, что модернисты интересуются Успенским, — знаю. Они ведь вообще теперь почему-то становятся „народниками“. Мне пришлось присутствовать в Петербурге на докладе Блока в литературном обществе, это была какая-то крошка из славянофильства, гоголевской переписки и пророчества (гибель ин-

теллигенции от народного урагана). Более всего — искусственности и риторичности»¹⁶⁰.

В незавершенном наброске к «Возмездью» 1921 г. Блок написал:

И старики, не прозревая
Грядущих бедствий...
За грош купили угол рая
Неподалеку от Москвы.

(III, 466)

Отнести «русских богачей» к категории «непрозревающих» нельзя. Прежде всего это были другие «старикки», не бекетовской складки. Даже таких «ненастоящих» имений, как Шахматово, у них не было, хотя все они принадлежали к сословию дворян. Небольшое отцовское наследство Михайловский истратил на устройство переплетной мастерской по рецептам «Что делать?». Юность «стариков» совпала с 60-ми годами, отсюда восприняли они не только мировоззрение, но и весь уклад жизни. А. Н. Анненская вспоминала, что их скромная «обстановка» все же по разночинскому кодексу считалась «буржуазной»: «у нас чайный стол покрывался скатертью и колбаса подавалась на тарелке, а не на той бумаге, в которой была куплена»¹⁶¹. Знаменитый на всю Россию публицист писал своим родным весной 1893 г., благодаря за пасхальные дары: «Милые друзья мои, я совершенно сконфужен обилием ваших настольных подарков. Скатерти и салфетки оценила в особенности, конечно, Аннушка (старая нянька Михайловского. — М. П.), так как они дадут ей возможность отдохнуть от непрерывной стирки 2½ имевшихся у меня салфеток и 1½ скатертей»¹⁶². А через четыре дня после собрания в Литературном обществе, 16 декабря 1908 г., С. Д. Протопопов записал в дневнике: «Вчера был у Короленко и у Анненских. У Короленко обедал. Без скатерти и деревянными ложками... Милый радикализм 60-х и 80-х годов»¹⁶³. Это был временный петербургский быт, но и полтавский не многим отличался, хотя скатерть все же стелили.

Демократической интеллигенции не было нужды «опрощаться» и не было особых причин «каяться». Впрочем, создатель формулы «кающиеся дворяне» не вкладывал в нее того иронического оттенка, какой она приобрела впоследствии. «Их мучит все та же старая душевная боль за свое положение, — писал Михайловский в 1876 г. — Они, наконец, видят, что этот самый народ, невежественный и нищий, с точки зрения спокойствия совести, выше их <...> он выше не по каким-нибудь своим национальным особенностям, а потому, что он — народ»¹⁶⁴. «Покаянные» настроения — от некрасовских до современных — Блоку были близки.

И наконец, самое важное обстоятельство: у «стариков» из «Русского богатства» было подлинное, а не книжное знание народа, добытое не «хождением в народ», не экскурсиями «по святым местам» и не дачным житьем, а опытом тюрем, этапов, ссылок, каторги. П. Ф. Якубович, который провел в тюрьме и на каторге 15 лет, писал 25 сентября 1905 г. Е. П. Летковой-Султановой, что читатель «Русского богатства» привык к «прямолинейно-гуманному направлению» и может не понять, что автор не разделяет «жестокосильных взглядов своей юной героини»: «Между тем, не отрицая, что наш простой народ часто бывает наивно-жесток, я объясняю эту жестокость очень просто: окружающими народ грубыми, жестокими условиями жизни, некультурностью, наивностью и т. п. и отнюдь не согласен в этой народной черствости черпать какие-либо доказательства правоты идейной жестокости некоторых интеллигентных учений, безусловно мне антипатичных». А в следующем письме сообщил, что то же сомнение пришло в голову Владимиру Галактионовичу¹⁶⁵.

«Прямолинейно-гуманное направление» не помешало автору «Мира отверженных» нарисовать трагическую рознь народа и интеллигенции. «Напрасно развивал я собственные взгляды на прогресс, — писал он в главе „Демоны зла и разрушения“ о своих беседах в камере каторжной тюрьмы, — говорил о силе и власти просвещения, о бесполезности и вреде кровавых расправ <...> Смысл

всякой иной борьбы с тяжестью и злом современной жизни, борьбы иными средствами, кроме пролития рек крови, всеобщего пожара и разрушения, был совершенно непонятен и чужд этим сердцам, покрытым темной чешуей озлобления, невежества и испорченности. Невеселые думы овладевали мной после каждого из таких разговоров; жутко и страшно становилось за будущее родины...»¹⁶⁶.

Постоянные авторы «Русского богатства» С. П. Подъячев и В. В. Муйжель высказывали и более мрачные мысли об отношении народа к интеллигенции. Подъячев писал Короленко 9 октября 1906 г.: «Мне до боли грустно читать статьи г. Якубовича, из которых я с ужасом узнаю, как страдали те святые люди... За кого они страдали? Где благодарность? Кто помнит? „Так им, чертям, и надо“, — вот что только и можно услышать от тех, за которых они приняли смерть и муки. Может, лет через 100 оценят, а теперь...»¹⁶⁷. Но и такой «тихий рост российской культуры и российского политического сознания» не пугал Короленко¹⁶⁸, хотя и не радовал, разумеется. А те «святые люди», о которых писал Якубович, знали, что их земной удел — «Венок терновый без награды, // И вьюгой замеченный след».

Почти одновременно с докладом Блока, 21 октября 1908 г., Муйжель сообщал А. Г. Горнфельду: «Буду писать „Внизу“ — это то, что *всегда* под нами <...> Показать то, что под нами, показать все огромное недоверие, подозрительность и враждебность, да, да, как ни закрывайте глаза, а враждебность этого самого низа к нам, к тому, что как ни говори, а на горбе этого самого низа сидит и кусочек хлебца даже с маслицем кушает — показать, что ведь мы танцуем на вулкане — ей же богу это так, не преувеличение мое, что враждебность, а главное — недоверие, полное и абсолютное недоверие мужика ко всему, что не мужик, не деревня, не плоть от плоти ее <...> Порвалась связь народа с интеллигентом давно, порвалась совсем, в экономическом отношении, в политических исканиях, хотя тут и меньше, по крайней мере у лучшей части интеллигенции, в быте — главное, в быте, этом цементе людей! <...> Глеб Успенский, я считаю, и погиб от этого разрыва и, скажу словами Достоевского о Пушкине, погибая — унес от нас с собой некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него ее разгадываем! Пытаемся разгадать, по крайности, а разгадаем ли? — Кто знает!...»¹⁶⁹.

Этот замысел воплотился в повести «На краю жизни». Короленко не согласился с мрачным колоритом автора, но повесть напечатал в «Русском богатстве». Он знал «правду-истину» об отношениях двух разнородных пластов — народа и интеллигенции, но был совершенно лишен покаянных комплексов и никогда не соглашался «приспустить», как говорил Блок, «надменный флаг культуры» перед «стихией», даже народной, даже революционной. «Гул стихий земных и подземных», от которого «люди культуры» бессильно обороняются щитами науки и искусства (V, 355—356), не казался Короленко «гибельным».

Блока упрекали в «пессимизме», Короленко — в «оптимизме», в «голубоглазии души»¹⁷⁰. О своей среде Блок сказал: «А уж сибирских пыток не выдержал бы никто из нас...» (V, 216). По поводу «ссыльного юбилея» Короленко А. В. Амфитеатров хорошо написал: «Он оказался сильнее Сибири, и она отступила от него — посрамленная и побежденная»¹⁷¹. Свойственная Короленко, по его самоопределению, вера в жизнь как «дело глубоко осмысленное и святое» сочеталась с трезвостью и спокойствием стойка, готового к любому «мраку». «Впереди темно, — будем искать в темноте...», — писал он в 1906 г. Н. Ф. Анненскому¹⁷², повторяя «сократовскую» формулу своего глубинно автобиографического рассказа «Тени».

Порою на Короленко находил веселый стих: он писал пародии и читал их в дружеском кругу. Одна из них, по-видимому, возникла как отклик на темы блоковского доклада, в котором, в частности, упоминался «соловьевский хохот» (V, 323).

Над широкими полями
Стаи белых городов.
В нас, над нами и под нами
Сотни блеющих голов.

Хохот слышится надменный,
Слабый, бешеный, больной.
Хохот слышен гробовой
Надо мной и над вселенной¹⁷³.

В работах о Блоке порою пишут, что «старик» из «Русского богатства» признал правоту главной мысли доклада, ибо в свое время пережили «крах» «хождения в народ»¹⁷⁴. В действительности произошло, скорее, обратное. В 1911 г., когда Блок вернулся к спорам вокруг своего доклада об «интеллигенции и народе», он написал слова признания, относящиеся прежде всего к выступлению Короленко. Правда, он никого не назвал, но расшифровать тех, кто имелся в виду, не трудно, опираясь на письма Блока и Любовь Дмитриевны к А. А. Кублицкой-Пиоттх, а также на его записи того времени (ЗК, 124—128): «Были шумные споры, доходившие до крика; были веские возражения с «классовой» точки зрения, наряду с глумлением, ехидством и истерическими выпадами; была борьба логик, самолюбий, «дворянские покаяния» и «разночинская» самоуверенность, случаи образцового непонимания друг друга и, обратно, какое-то сверхпонимание, с полунамека или вовсе без слов. Во всяком случае, было празднично и бодро, старые и маститые писатели услышали в этой теме свое заветное и старинное и ответили юным молодыми словами; верую, что иные слова старых были тогда моложе и вечнее иных слов юных, что за ними таились опыт и пытка десятилетий и что слова были белы, как седины самих говорящих, и бескорыстны, как они» (V, 686).

О чем же говорил Короленко? По свидетельству Л. Д. Блок и газетных отчетов, — о расколе в мире, о трещине в сердце поэта и о своей вере в будущее слияние разъединенных станов. Эти мысли развиты в неопубликованной заметке «Об интеллигенции» (1914):

«И в 80-х и 90-х годах XIX века * существенное в положении русской интеллигенции остается одно: ее *собственные* искания, собственная мысль, стремление найти *свое* собственное место в великом процессе исторического перехода. Для этого ей нужно найти правду житейских отношений, найти соизные в народе элементы в понимании и осуществлении этой правды <...> Среди расколовшегося мира есть и долго еще будет человеческий тип, болеющий этим расколом, но занимающий в нем *свое собственное* определенное место. Это то, что принято называть общим названием интеллигенции. Она чувствует ненормальность раскола. Она стремится к слиянию разных частей расколовшегося мира, к тому, чтобы люди были равны. Это не нивелировка, не обезличение <...> Интеллигенция чувствует, что ее в том виде, как она есть теперь, *не должно быть* в будущем обществе. Но это не причина для самоуничтожения. Ведь несомненно, что и пролетариата, и крестьянства в том виде, как они есть, тоже *не должно* быть. Те, кто представляет себе это будущее как усовершенствованную деревню нынешнего типа, так же ошибаются, как и те, кто полагает, что это будет усовершенствованная нынешняя фабрика и что пролетариат войдет в землю обетованную нынешним пролетариатом.

Теперь нет ни одного класса, ни одного элемента общества, которому можно было бы приписать райскую святость. Для всех нужна вера в то, что будет правда. Но это есть именно вера, момент религиозный. Поклонение довлеет не идолам, а тому божественному, что есть у человека в душе».

Этот отрывок первоначально входил в воспоминания о Михайловском, поэтому Короленко все время обращается к «человеку с седой головой и с загадочно-суровым взглядом», который однажды сказал: «Если бы весь народ захотел вторгнуться в мой рабочий кабинет, где я служу своему богу, чтобы разбить бюст другого божьего слуги — Белинского, — я сочту своим правом и обязанностью умереть у порога своего крова и защищать его, пока у меня хватит жизни»¹⁷⁵.

Короленко вольно передает слова Михайловского, написанные в 1875 г., в полемике «Отечественных записок» с «Неделей», вокруг которой группировались «народопоклонники» националистического оттенка. Михайловский, впрочем, допускал и другой вариант поведения: «И если бы даже меня осенил дух величайшей кротости и самоотвержения, я все-таки сказал бы, по малой мере: прости им, боже истины и справедливости, они не знают, что творят!»¹⁷⁶.

И Михайловский, и Короленко «прозревали грядущие бедствия», они искали

* Первоначально было: И в 80-х и в 90-х XIX и в 10-х годах XX веков.

путей для преодоления рокового разлада. И Блок в 10-е годы встал на этот путь поисков «под знаком *мужественности и воли*». Так он писал накануне революции в заметке о русских народных сказках: «Нашим детям предстоит в ближайшем будущем входить во все более тесное общение с народом, потому что будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс и подземных богатств; песенка всяких уютных «привилегированных» заведений спета, уж поздно рассуждать о том, что их «на наш век хватит». Дети наши пойдут в *технические школы* по преимуществу и рано соприкоснутся поэтому с так называемым невежеством, темнотой, цинизмом, жестокостью и т. п.

Имея все это в виду, надо по мере сил *объяснять* детям все «народное» < . . > Право, если перестать всячески белоручничать, многое «неприглядное» объяснится и окажется на вольном воздухе гораздо более приглядным, чем казалось в четырех стенах.

< . . > Если умеете хоть немного, откройте в этой жестокости хоть ее *несчастную*, униженную сторону; если же умеете больше, покажите в ней *творческое*, откройте сторону могучей силы и воли, которая *только* не знает способа применить себя и «переливается по жилочкам».

Вот задача, на которую стоит потратить силы...» (ЗК, 275—276).

Этой задаче и отданы были все силы журнала, руководимого Михайловским и Короленко.

«Под знаком мужественности и воли» Блок встретил «народный ураган» 1917 г. Его народолюбие прошло реальное испытание огнем возмездия, в котором сгорели «картонные» формы «народопоклонства» — «общественников», националистов-«нововременцев», проповедников «нового религиозного сознания», «теургов» и т. д. Узнав о гибели Шахматова¹⁷⁷, Блок плакал по ночам, но не осуждал «неизвестные миллионы бедных рук», которые выкидывали и сжигали «духовные ценности», ибо жизнь обрекла их на «добывание хлеба в поте лица» и оставила «не научившимися». «Господи, не сужу», — написал он (VII, 353—354).

Еще в 1913 г. Блок размышлял о грозных путях народного гнева: «Были в России «кровь, топор и красный петух», а теперь стала «книга»; а потом опять будет кровь, топор и красный петух» (V, 486). Книга, которая навеяла эти мысли, называлась «Пламень». Блок понимал, что огненная стихия лишь временно может избрать «путь книжный», но ее нельзя «поставить на полку», ибо Россия, «вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной» (V, 483, 486).

В 1918 г. в «Русском богатстве» (№ 1—3) был помещен отрывок из «Ужасного года» В. Гюго — под названием «Чья вина?»:

— Библиотека здесь тобою сожжена?

— Да, я ее поджег.

— О, страшная вина!

Свершенное тобой тебе во вред, злодей.

Ведь то, что сжег сейчас твой дьявольский разгул,

Твое же все добро, наследье, клад, оплот;

Ведь книга друг тебе и враг твоих господ.

Ведь книга за тебя повсюду и всегда. . .

Грохочущий камнепад обвинительной риторики занимает две журнальные страницы — 55 стихотворных строк...

Ведь книга — разум твой, собранье высших дум,

Долг, добродетель, право, доблесть, ум,

Прогресс, зовущий тьму рассеивать.

И это все ты сжег!

— Я не учен читать.

Обвиняемый произносит две короткие фразы, а Гюго провозглашает: «Ты вызван, век, на суд.// История глядит. Я лишь свидетель тут». Однако по су-

ществу и гипотетический «народ» Михайловского, и «злодей» Гюго, и «несчастный Федот» Блока оправдываются по формуле: виновны, но заслуживают снисхождения...

И Короленко на этом суде истории всегда был защитником, а не обвинителем, — он, оправдывая, не соглашался благословлять стихийные формы мятежа, — но был неуступчивым гуманистом. Отсюда вытекала и его оценка поэмы «Двенадцать» — с этических, «дедовских» позиций. Два мемуариста приводят похожие отзывы: «А „Двенадцать“? Это же кощунство! Убийство, грабежи, разврат, кровь — и Христос!..»¹⁷⁸. «Если бы не Христос, то ведь картина такая верная и такая страшная...»¹⁷⁹.

В свое время А. Г. Горнфельд заметил: «слишком легко попрекнуть» Короленко в том, что «неизбежному и неизбежно страшному столкновению двух миров он противопоставляет<...> утопию бескровной русской революции, что он — как говорил Ницше о Тэне — читает проповеди землетрясению»¹⁸⁰. Этот «попрек» иногда повторяют без того оттенка сомнения и раздумья, который был у Горнфельда, но с сохранением его фактической неточности. Дело в том, что Горнфельд цитировал по памяти свою статью «Ницше и Брандес», которая основывалась на переписке этих двух лиц. Фразу о Тэне написал Брандес, а Ницше ответил ему: «Вы правы, что он «читает проповеди землетрясению», но это донкихотство принадлежит к самым достойным поступкам, какие возможны на земле»¹⁸¹.

Луначарский называл Короленко «прекраснодушным Дон-Кихотом», но видел «примирение с ним в некотором высшем синтезе», ибо «чем более прочной и широкой будет наша победа, тем ценнее будет становиться для нас Короленко»¹⁸². Сознание «высшего синтеза» присутствует в работах многих современных исследователей, ибо для нашего времени характерен процесс собирания русской культуры. Происходит сближение того, что еще недавно казалось расположенным «на разных полюсах земли». В одной из таких работ сказано: «Нам, интеллигентским поколениям революции, непосредственно предшествовали два мощных идеологических течения: символизм и русский демократизм (с такой мощной культурной отраслью, как народничество)»¹⁸³.

Эти две культуры выросли на одной почве и поэтому соприкасались корнями и кронами. История короленковского поколения, когда «молодой и деятельный русский романтизм устремился «к таинственному голубому цветку» — народной душе, «сохранившей живую воду обновления»¹⁸⁴, — повторялась. На дедовской шахматовской земле летом 1901 г. написаны предопределяющие строки, увидевшие свет в 1911 г., когда мотив «возврата» овладел Блоком.

И я, неверный, тосковал,
И в поэтическом стремленьи
И я без нужды покидал
Свои родимые селенья.

Но внятен сердцу был язык,
Неслышный уху — в отдаленьи,
И в запоздалом умиленьи
Я возвратился — и постиг.

(I, 96)

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Цит. по кн.: Вл. Орлов. Гамаюн. (Жизнь Александра Блока). Л., «Сов. писатель», 1980, с. 665.

² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 304.

³ Там же, с. 120.

⁴ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I. СПб., изд. «Русского богатства», 1906, с. 480.

⁵ А. Г. Горнфельд. Михайловский и 80-е годы (черновой набросок статьи). — ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 52, л. 15.

⁶ Ек. Леткова. Из писем Н. К. Михайловского. — «Русское богатство», 1914, № 1, с. 386; при публикации фамилия Бекетова была зашифрована: Б-в. Сверено с автографом, хранящимся в ЦГАЛИ, ф. 280, оп. 1, ед. хр. 201, л. 119.

⁷ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 505.

⁸ А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30 томах. Сочинения, т. 16, М., «Наука», 1979, с. 94.

⁹ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 515.

¹⁰ ИРЛИ, ф. 266, оп. 3, ед. хр. 425.

¹¹ ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 17, ед. хр. 60, л. 19.

¹² «Отечественные записки», 1881, № 4, с. 369.

¹³ Там же, с. 383.

¹⁴ И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28 томах. Письма, т. 11. М.—Л., «Наука», 1966, с. 195.

¹⁵ ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 34—35.

¹⁶ Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1914, с. 483.

¹⁷ «История русской литературы XIX в.» Под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского, т. 4. М., «Мир», 1910, с. 68 (Личная библиотека Блока в ИРЛИ; о пометах Блока см. в наст. кн. статью О. В. Миллер).

¹⁸ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Собр. соч. в 20 томах, т. 19, кн. 1, М., 1976, с. 131.

¹⁹ Привожу письмо А. Н. Бекетова отцу поэта полностью:

«Дочь моя решается снова на сожительство с вами, но я все-таки делаю в этом письме попытку уговорить вас не наставлять на ее возвращении.

Перед свадьбою вы согласились со мною, что брак есть свободное сожительство женщины и мужчины, которое может быть расторгнуто каждым из них. Вы не придавали тогда значения правам, предоставляемым вам сводом законов на основании совершившейся церковной церемонии. Так как, притом, вы не принадлежите к числу верующих и относитесь ко всему вполне скептически, стараясь действовать только согласно своей собственной логике, которую одну вы и признаете, то, приступая к разговору с вами о судьбах моей дочери, так тесно связанной с вашею личностью, я буду основываться на одних выводах здравой логики.

Осмысленная дочь моя вам настолько понравилась, что вы употребили некоторое усилие для ее заполучения. Усилия эти увенчались успехом, вы взяли себе эту девушку с ее согласия. Вы желаете пользоваться ею и вперед. Все совершенно естественно и понятно. Но вместе с тем вы желаете ее переделать вполне на свой лад, так, чтобы все ее мысли и действия в точности согласовались с вашими мыслями и с вашими действиями. Это желание может, без сомнения, тоже иметь свои логические основания, но здравый рассудок признать правильности такого стремления не может, и вот почему.

Человек не есть ком пластической глины, который можно фасонировать по произволу. Воспитание не может коренным образом изменить то, что получено роковым образом от природы. Это не удастся и тогда, когда воспитание начинается с детства, становится невозможным, когда воспитание начинается с 18 лет.

Все, что можно сделать с этих пор, заключается в сообщении известных мыслей и наружных привычек тем или другим способом. Следовательно, все ваши действия в указанном смысле могут иметь только один этот результат.

Считая свои мысли и свои привычки наилучшими, вы стремитесь, следовательно, привить их вашей жене, предполагая, что она будет наилучшим образом удовлетворять вашей личности, если примет все до тонкости ваши привычки и ваши мысли. Другими словами, вы стремитесь лишить мою дочь, а вашу жену ее индивидуальности. С известной точки зрения и это можно считать совершенно правильным желанием. Сборщик податей, видящий в каждом человеке только податную единицу, требует только того, чтобы эта податная единица платила, хотя бы для этого она лишилась жизни. Вы требуете от жены только отражения своей собственной личности. Но считаете ли вы, что подать, налагаемая вами на свою жену, должна быть вам выплачена ею тоже, хотя бы для этого она должна была бы лишиться жизни.

Ваши действия убеждают меня в том, что вы именно так рассуждаете, а главное, действуете тому сообразно.

Получивши от природы неотразимое стремление, а следовательно, и право заботиться о сохранении жизни и здоровья своей дочери, а вашей жены, я не допускаю возможности ее истребления ради удовлетворения appetitов посторонней личности.

В этом заключается простая, но первостепенной важности причина, понуждающая меня и мою семью стремиться к заполучению от вас своей дочери обратно.

Рассуждаем дальше. Моя дочь не имеет приданого. Она живет на ваш счет. Вы, очевидно, полагаете, что ваши на нее расходы обязывают ее вполне обезличиться перед вами. Но вы, во всяком случае, сделали не невыгодную спекуляцию, забрав ее в свое владение. Она стоит вам полтысячи рублей в год, а между тем служит любовницею, экономкою, слугою, перепищицею и лектрисою. За пятьсот рублей всего этого не легко получить, а вы хотите за эти деньги окончательно истребить ее и ее ребенка на свои потребности.

Такое желание не благоразумно. Слишком скоро вы ее и истребите, так как на преступление, признанное законом за уголовное, вы не решитесь. Она будет довольно долго хилеть и болеть. Продолжая поступать по-прежнему, а иначе вы, разумеется, поступать не способны, вам придется довольно долго тратиться на женщину, которая не в состоянии будет, несмотря на энергические покаяния, ни чем вас удовлетворять. Это плохая спекуляция.

Если бы моя дочь была чрезвычайно крепкого сложения и отличалась тупостью ума и чувств, то она, может быть, сохранила хотя бы отчасти потребные для удовлетворения вашей натуры качества, но она скоро худеет и вянет в вашей обстановке и при вашем образе действий. Следовательно, прежде даже, чем она лишится своего ребенка, что весьма вероятно при вас и около вас, прежде, чем она заболит и окончательно сляжет, она перестанет быть

для вас удовлетворительную. Таким образом, и с этой точки зрения вы совершенно напрасно зовете ее к себе.

Вас, очевидно, тревожит лишь одно самолюбие. Никто де не должен думать, что жена покинула меня, сама не захотела со мною жить. Такое неудобство легко устранить. Вы можете утверждать, и вам, разумеется, поверят, что вы сами бросили свою жену, так как она перестала вам нравиться и получила отвратительный характер и отвратительные привычки от своей никуда не годной семьи.

Для нас важнее всего сохранить жизнь ее и ее сына, а что будете говорить вы и всякий другой, нам безразлично.

Взвесьте все эти доводы с должным хладнокровием. Тогда вы придете к убеждению, что ваша прямая выгода во всех отношениях оставить вашу жену у ее родных.

Свои суждения о вашей личности я основываю на фактах. Я убедился, что вы толкуете не только эти факты, но и всем понятные явления жизни с точки зрения глубочайшего себялюбия и своего собственного самочувствия, выражаясь словами медиков. Вы вовсе не признаете того, чего вы сами не знаете или не чувствуете.

Неудобство, унижение человеческого достоинства, страдание, боль, любовь, даже холод и голод, — все это вы признаете только ради себя и по отношению к себе. Если вам удобно, то и остальным должно быть удобно, если ваше достоинство не унижено, то и достоинство остальных не унижено, если вам не холодно и не голодно, то и остальные должны быть сыты и т. д.

Следовательно, спорить с вами о том, насколько было хорошо или дурно вашей жене при вас и около вас, я считаю совершенно излишним» (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 13).

²⁰ ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 9, л. 5 об. Частично опубликовано в кн.: «Ленинградский университет в воспоминаниях современников», т. 1. Л., 1963, с. 195—199.

²¹ Анна Павловна *Философова* (1837—1912) выведена в «Возмездии» под именем Анны Павловны Вревской (III, 319—321, 620). В ноябре 1911 г. Блок и А. П. Философова поставили свои подписи на листе № 6 под воззванием «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)», текст которого написал Короленко (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 75).

²² ГБЛ, ф. 120, к. 12, ед. хр. 21, л. 1—5. Об истории с Антроповым А. Н. Бекетов начал рассказывать в заметках «Эпизоды из времен моего ректорства», оборванных в самом начале. Мы узнаем лишь, что этот инспектор — отставной моряк и «выпить не дурак» — получал «жалованье, превышающее профессорское + ректорское» (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 14 и об.).

²³ ГБЛ, ф. 120, к. 12, ед. хр. 21, л. 6 и об.

²⁴ См. письмо Н. К. Михайловского Е. К. Мягковой (сестре) от 29 октября 1879 г. — ГБЛ, ф. 578, к. 1, ед. хр. 10, л. 19 и об.

²⁵ Среди многочисленных литературных набросков А. Н. Бекетова есть стихотворные строки о «ветре суровом», причем идет речь об идеологическом, так сказать, ветре, идущем с Запада (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 5, л. 5). Поэзию «внука» продувают скорее «восточные», «скифские» ветры.

²⁶ Запись А. Н. Бекетова о Петербургском университете 60-х годов, сделанная 28 декабря 1896 г. — ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 35 об.

²⁷ Вл. Короленко. Старые традиции и новый орган. — «Русские записки», 1916, № 8, с. 254. Эта статья написана в связи с отказом участвовать в «банковской газете» А. Д. Протопопова. 29 октября 1916 г. и Блок отказался от участия в «новом деле» (VIII, 475).

²⁸ ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 12, л. 17 и об.

²⁹ Там же, ед. хр. 7, л. 11 об., 15 об., 18.

³⁰ Там же, ед. хр. 5, л. 4—5. В бумагах А. Н. Бекетова сохранилось стихотворение «Земский собор» с характерной для лагеря русской демократии трактовкой фигуры Ивана Грозного. Михайловский в статье «Иван Грозный в русской литературе» (1891) писал, что идея самовластия главенствовала в деятельности Ивана IV. Поэтому ему «можно было напечатать и земский собор, и опричнину, и составление Судебника, и полную бессудность всяя Руси» (Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VI. СПб., 1897, изд. «Русского богатства», с. 207).

Земский собор

Однажды царь хватился
И очень удивился,
Что все верх дном идет.

Подъячие воруют,
Опричники ликуют,
Народ же с гладу мрет.

Велит по всему царству
Холопству и боярству
Сбираться на собор.

Царь вышел, поклонился,
К собору обратился:
Честной ты мой народ!

Намедни я хватился
И очень удивился,
Что все верх дном идет.

Подъячие воруют,
Опричники ликуют,
Народ же с гладу мрет.

Что делать, помогите,
Скорее говорите,
Совета жду от вас.

Урод! сказал народ,
Набрал ты всякий сброд,
А толку в этом нет.

Возьми-ка ты дубину, Рукою размахнулся,
Гови-ка всех их <в> спину. Спину повернул,
Вот наш тебе совет. Опричников позвал.

Благодарю, честные, Лушили батогами,
Какие ж вы шальные, Давили лошадьми.
Провал бы вас побрал! Собор весь разнесли.

А царь не удивлялся
И боле не справлялся,
Как в царстве все идет.

(там же, л. 1—2)

³¹ Там же, ед. хр. 3, л. 3 и об.

³² Приведу выдержки из этих интересных мемуаров, написанных 23 марта и 4 августа 1896 г.: «Я родился в год смерти Александра Павловича и восшествия на престол Николая I. В последние годы царствования Александра Россия управлялась, впрочем, не этим господином, а злодеем Аракчеевым. Все мерзости, тяготевшие над Россией, развились и окрепли под аракчеевским режимом и превратились в махровые адские цветы. 14 декабря, а затем польское восстание подали повод держаться аракчеевщины, хотя в ослабленном виде, и во все управление Николая I. При этом господине я провел семь лет в петербургской гимназии, около двух лет в егерском полку юнкером, пять лет в университете студентом — сначала в Петербургском, а потом в Казанском, пять лет был учителем в гимназии, пять лет жил без дела в Москве. Испытал я на себе и видел российское житье во все времена управления выше названного человека.

Должен сознаться, что мне трудно быть относительно него объективным. История найдет, вероятно, естественные объяснения действиям *«сего монарха»*, но это не должно вести к оправданию. Правило: *comprendre c'est pardonner* * — к науке не применимо, а ведь История — наука. Дело не в обвинении, но и не в оправдании: чуму можно объяснить, но тем не менее она останется чумою. Николай Павлович был чумою, продолжавшеюся 30 лет. У него были добродетели, преимущественно семейные, в связи с которыми проявлялось даже добродушие, но ни гражданских, ни воинских добродетелей — ни на грош. Ум и характер — пошлый, самодурство — отчаянное. Оригинальности ни малейшей. Гражданская трусость неограниченная. Последнее лучше всего доказывается тем, что, сознавая необходимость освобождения крестьян, он об этом только болтал с Киселевым, а не решился ни на что.

Рыцарство его состояло в том, чтобы играть роль всевропейского полицмейстера помощью крови и денег русского народа. За это, когда все(м) оно надоело, его и турнули. Управление государством он понимал чисто с жандармско-полицейской точки зрения. Он говорил, что «полиция есть душа всякого образованного общества». Утверждают, что это его изречение будто написано в каком-то присутственном месте золотыми буквами после того, как он там его высказал. Все это, однако же, не факты, обращаюсь к ним <...> Николай I не знатного рода, не аристократ. Он внук Екатерины Цербской и Салтыкова, сын незаконнорожденного Павла. Теперешняя династия есть династия *Павлидов*. Если бы, впрочем, он и был сыном бессмысленной ракальы Петра III, то этим ничего бы не выиграл. Своим положением он, значит, обязан альковному прелюбодеянию и глупости брата Константина.

Его портрет всем известен. Бронзовая верховая статуя его, стоящая перед Исакиевским собором, есть точный с него сколок. Таким являлся он на парадах — это вахмистр во всей его пошлости <...> На пьедестале памятника изображены великие дела Николая I. На одном он открывает московско-петербургскую ж. д., причем, он один в шляпе, а мужики лежат вповалку, как прилично рабам; на другом Николай I усмиряет бунт на Сенной. Он стоит во весь рост в коляске, а мужики на коленях.

Таким образом, эта площадка с ее монуменами представляет превосходный букет, собрание характерных черт николаевщины. Непомерное чванство, с одной стороны, холопство и рабство — с другой.

Будем надеяться, что со временем русский народ уберет весь этот позор.

Николай Павлович был очень высокого роста и прекрасно сложен, но тяжел и без всякой грации. Голова была красивая без всякого выражения. Впрочем, выражение было: он постоянно таращил глаза и напуцал на себя суровость. При улыбке выражение было добродушное, но ни ума, ни сколько-нибудь тонкой игры в физиономии не было.

Всегда одетый по строгой военной форме, с солдатскими манерами, прямой, как верста, он, даже любезничая с дамами **, не мог избавиться от отрывистой, командной речи.

Эти господа говорили всем «ты», что происходило от того, что они считали себя отцами своих подданных.

* Понять значит простить (*франц.*).

** Я слышал его любезности к дамам на маскараде. Он остановился перед маскою и, грозя шутливо пальцем и не церемонясь, сказал громко на всю толпу: «О, о, хорошенькие глазки...».

На этом же маскараде (мне было лет 19) меня кто-то схватил за талию и, ловко приподняв, поставил в сторону. Оборачиваюсь — это оказывается рыжая фигура Михаила Павловича, впрочем, добродушно усмехающаяся.

На парадах они, в том числе и старшой их Николай Павлович, ругались, как пьяные сапожники, т. е. прямо-таки по-матерному. При этом они не обращали внимание на то, были ли в толпе зрителей, их окружавшей, дамы.

Еп сошше *, Николай Павлович был самым обыкновенным смертным и притом не хуже большинства своих современников. Если бы он был простым богатым помещиком (он любил себя называть первым дворянином и помещиком), то, вероятно, в нем бы не развились многие дурные стороны его нрава <...>

Русским царем ему быть вовсе не пристало — ни одной петровской черты в нем не было, их было больше даже в чистой немке Екатерине II.

Я пишу не историю, а хочу только указать на факты и явления, характеризующие николаевское время, которые могу иллюстрировать собственным наблюдением или свидетельством верных людей.

Самодержавие есть не что иное, как *своеволие*, ибо закон имеет силу только до тех пор, пока его не нарушит Самодержец, т. е. лицо, для которого, по самому смыслу этого закона, закон не писан.

Все чиновники, начиная от высших и кончая будочником, да и весь российский народ так и понимают самодержавие. Считая себя представителями верховного своевольца, они считали (да и теперь считают) себя законом уполномоченными на своеволие <...>

Николай Павлович постоянно прихотничил, будучи вполне самодуром: он постоянно хотел действовать по-своему в самых мелочах, он вмешивался в частную жизнь русских, был несносен. Уж не говоря о военных, он и штатским не давал покоя. Встретит господина с бородой — велит его обрить, встретит много новомодных персидских шапок — распорядится, чтобы этого не было, встретит пьяного солдата — велит его пороть до полусмерти, рассажав под арест всех командиров, начиная от ротного до дивизионного. Один раз разругает за то, за что другой раз похвалит. Совался в архитектуру, в искусство, ничего в них не понимая. Строителем Исаевского собора назначил бездарного и неумного Монферана, немцу Тону поручил построение церквей в византийском вкусе: отсюда отвратительные соборы с огромными приземистыми луковичами.

Чего-либо оригинального во всю свою жизнь не проявил.

Весь век занимался армиею по прусскому образцу, а достиг только севастопольского погрома, так <как> занимался только шагистикой и равнением...» (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 39—42 и об., 17 об.).

³³ Это отрывок из воспоминаний о начале 60-х годов: «Сидел я однажды перед микроскопом в своем профессорском кабинете, когда ко мне внезапно вошел незнакомый молодой человек, поздоровался, назвав себя Успенским, и предложил мне свои услуги. «Не позволите мне, профессор,— сказал он,— помогать Вам в ваших занятиях?».

Несколько удивленный, я спросил его, в чем должна состоять его помощь, и еще с большим удивлением узнал от него, что он о ботанике имеет самое смутное понятие, а микроскопом никогда не занимался.

— Вы, может быть, желаете заняться под моим руководством? — спросил я его.

Но он продолжал говорить о помощи, и я должен был объяснить ему, что прежде, чем ассистировать профессору, необходимо познакомиться с наукой и ее приемами.

Он выслушал все это благодушно, но ушел, как мне показалось, все-таки неудовлетворенным.

Через несколько дней узнал я случайно, что это был Ник. Вас. Успенский, всем известный своим литературным талантом и затем бедственным концом.

В то время Ник(олай) Вас(ильевич) именно проживал в здании Университета на квартире бывшего секретаря совета почт(енного) С. П. Загибенина. Мне около <того> времени случилось зайти к Ст(ахию) Петр(овичу), и тут он мне сообщил, что Н. В. Успенский жил у него, что он не знает, что с собой делать, пробовал и медицинскую академию, но все у него что-то не клеится.

— Я его приютил на время у себя потому, что он находился в самом печальном положении.

— Да ведь он писатель и очень даровитый! — вскричал я.

— Так, так, а если бы вы знали,— сказал Ст. Петр.,— как долго и превосходно рассказывает он мне о разных виденных им людях и делах, просто заслушаешься.

— Отчего же вы, Н. В., всего этого не напишете, тогда ведь вам и нуждаться бы не пришлось?

— И знаете, что он мне на это ответил? Встал со своего места, взял меня за руку и повел за перегородку, где стоял диван, на котором он спал.

— Вот, Ст. Петр.,— сказал он,— видите ли этот диван...

— Вижу.

— Это рака преподобного лентяя. Не пускали бы вы меня на этот диван, я, может быть, кое-что и сделал бы.

Может быть, если бы Ник. Вас. Успенский, высказывавший склонность к науке, в гимназические годы своей юности получил бы солидное знание в естествознании, он сумел бы найти себе специальность, начал бы хоть с ассистирования профессору, а там пошел бы и дальше.

* В общем (франц.).

Литературный талант его от того скорее бы выиграл, чем пострадал, а в таком случае была сохранена и его жизнь, а для России не пропал бы талант» (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 15—16).

³⁴ Там же, ед. хр. 11 и 10, л. 4.

³⁵ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 480—481, 484.

³⁶ Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. X. СПб., 1913, с. 341.

³⁷ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. II. СПб., изд. «Русского богатства», 1896, с. 392.

³⁸ ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 3, ед. хр. 56. Привожу № 170 описания по архивному источнику, ибо публикаторы провели некоторую унификацию и дата «1911 г.» из конца попала в середину. См.: П. А. Жуков. Шахматовская библиотека Бекетовых — Блока. Публикация З. Г. Минц и С. С. Лесневского. — «Уч. зап. ТГУ», вып. 358. Труды по русской и славянской филологии, т. XXIV, 1975. Описание составилось в трудных условиях и содержит много неясностей. По поводу книг Н. К. Михайловского, А. Ф. Писемского, Я. П. Полонского, О. И. Сенковского и Н. Г. Чернышевского П. А. Жуков пишет: «Относительно книг последних пяти авторов у меня было сомнение: принадлежат ли эти книги к шахматовским, — настолько они по внешнему виду отличались от прочих шахматовских книг. М. А. Бекетова не признала их шахматовскими. Однако в силу того, что они находились и были записаны в общем потоке шахматовских книг, они включены нами в список» (там же, с. 402). М. А. Бекетова судила заглавно, не вникая в дело и по подсказке самого П. А. Жукова: «Книги, которые кажутся Вам не шахматовскими, и точно не наши: Михайловский, Гл. Успенский в переплетах, еще что-то» (там же, с. 416). То, что она отвергла заодно и Гл. Успенского, которого П. А. Жуков сомнению не подвергал и который был в петербургской библиотеке Блока, говорит само за себя. Да и не могла М. А. Бекетова помнить все книги шахматовской библиотеки. Сомнение П. А. Жукова вызвал внешний вид книг, видимо дорогие переплеты; он свидетельствует, что «почти все книги без переплетов», это говорит о скромных возможностях семьи» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 3, ед. хр. 56, л. 63—64). Однако, получив отцовское наследство, Блок в начале 10-х годов покупал много старых книг у букинистов. Эти книги могли продаваться в дорогих переплетах. Книги городской библиотеки, по свидетельству М. А. Бекетовой, Блок «переплетал в хорошие, дорогие переплеты у лучших переплетчиков» («Уч. зап. ТГУ», указ. вып., с. 414), а шахматовская библиотека пополнялась петербургскими книгами.

³⁹ «История русской литературы XIX в.», т. 4, с. 26 (Личная библиотека Блока в ИРЛИ). В «Синхронистических таблицах XIX века», начатых, по отметке Блока, в 1908 г. в связи с темой «Интеллигенция и народ», за 1869 г. указаны: окончание «Войны и мира» Толстого, «Обрыв» Гончарова, «Что такое прогресс?» Михайловского и «Кому на Руси жить хорошо?» Некрасова (Александр Блок. Собр. соч., т. 11. Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, с. 459).

⁴⁰ «История русской литературы XIX в.», т. 4, с. 56—57 (Личная библиотека Блока в ИРЛИ).

⁴¹ Там же, с. 90.

⁴² Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 482—483.

⁴³ Там же, с. 486.

⁴⁴ Там же, с. 483—484.

⁴⁵ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VI, с. 718.

⁴⁶ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 475, 589, 450, 478, 476, 479, 593—594.

⁴⁷ Там же, с. 481.

⁴⁸ Там же, с. 528.

⁴⁹ Там же, с. 518—519.

⁵⁰ Там же, с. 510, 513—514.

⁵¹ Л. К. Долгополов. Александр Блок. Личность и творчество. Л., «Наука», 1980, с. 132. Автор ставит под сомнение автобиографичность эпизода в Краковском предместье Варшавы с польской девушкой из простолюдинов Марией, а «версию о сыне» называет мечтой, не подтвержденной «документальными данными» (с. 125—126). Между тем вся эта суббота «недокументальная» история как раз и демонстрирует связь «личного» и «творческого» в судьбе Блока, ибо восходит к событиям отнюдь не вымышленным. В «Плане дальнейшего» Блок написал в 1911 г.: «Сын спускался по Краковскому предместью, в том самом месте...» (III, 465).оборот «в том самом месте», снабженный многозначительным отточием, и является для нас автобиографическим свидетельством, которое нет никакой необходимости (и возможности) оспаривать. Тем более что в варшавской записной книжке Блока есть помета: «У польки» (ЗК, 163). Кстати, мотив «сына» опровергает утверждение Долгополова о том, что в «Возмездии» речь идет о «конце того типа человеческой личности, который формировался на протяжении более ста лет русской истории», а пришел лишь к «покорности судьбе» (с. 132).

⁵² Письмо М. И. Цветаевой Б. Л. Пастернаку 1 июля 1926 г. — «Вопр. лит.», 1978, № 4, с. 276.

⁵³ «Дело Ив. Каляева». СПб., <1906>, с. 57—59.

⁵⁴ «Былое» (Сборник по истории русского освободительного движения). Париж, 1908, № 7, с. 22—23. Известная революционерка-народница П. С. Ивановская (свояченица Короленко), близко знавшая Каляева, называла его «романтиком и символистом» («Былое», 1924, № 23, с. 200).

⁵⁵ Сб. «Памяти Ивана Платоновича Каляева». Б. м., 1905, с. 30—32, 22.

- ⁵⁶ NN. Последний день Каляева.— «Былое», 1906, № 5, с. 187, 189.
- ⁵⁷ «Дело Ив. Каляева», с. 40.
- ⁵⁸ Сб. «Памяти Ивана Платоновича Каляева», с. 47.
- ⁵⁹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 362.
- ⁶⁰ «Жизнь», 1899, № 6, с. 275.
- ⁶¹ Там же.
- ⁶² Там же, № 8, с. 309—311.
- ⁶³ М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28. М., «Худож. литература», 1954, с. 129.
- ⁶⁴ «Жизнь», 1899, № 1, кн. 1, с. 116; № 8, с. 316.
- ⁶⁵ Там же, № 11, с. 278.
- ⁶⁶ Там же, № 9, с. 289, 292—293.
- ⁶⁷ Там же, № 11, с. 418—419.
- ⁶⁸ В. Г. Короленко. Избр. письма в 3 томах, т. 3. М., «Худож. литература», 1936, с. 113.
- ⁶⁹ Е. Колосов. К характеристике общественного мировоззрения Н. К. Михайловского.— «Голос минувшего», 1914, № 2, с. 230.
- ⁷⁰ Цит. по: Н. С. Русанов. «Политика» Н. К. Михайловского. (Из воспоминаний о нем и его писем).— «Былое», 1907, № 7, с. 136—137.
- ⁷¹ ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 180, л. 63.
- ⁷² ИРЛИ, ф. 114, оп. 2, ед. хр. 26, л. 1.
- ⁷³ Ник. Михайловский. О г. Соловьеве как «моменталисте-трансформисте» и развращенном человеке вообще.— «Русское богатство», 1899, № 7/10, отд. II, с. 202 и 216.
- ⁷⁴ Евг. Соловьев (Андреевич). Очерки по истории русской литературы XIX века. СПб., 1902, с. 374.
- ⁷⁵ Имеется в виду поход А. Л. Волынского против революционно-демократической критики (от Белинского до Писарева), предпринятый на страницах «Северного вестника» (статьи собраны в книге Волынского «Русские критики». СПб., 1896). Издательница «Северного вестника» Л. Я. Гуревич писала своему другу Э. И. Мешингу в 1898 г., когда журнал находился в состоянии агонии из-за неуклонного падения подписки: «Вся русская „интеллигентная“ культура до сих пор живет этими традициями. Издания Белинского, Добролюбова, Чернышевского расходятся в огромном числе экземпляров (...) Можешь себе представить, что до сих пор «Русские критики» печатались в «Северном вестнике» в 1893—95 гг.) не проходит дня, чтобы люди не спорили со мною на эту тему и не доказывали, что «развенчать русских богов» было преступлением» (ЦГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 56, л. 140 и об.).
- ⁷⁶ Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-53, 55, 60.
- ⁷⁷ М. Горький. Собр. соч., т. 28, с. 107.
- ⁷⁸ «Русское богатство», 1899, № 8/11, отд. II, с. 190 и 200.
- ⁷⁹ П. Б. (Л. Э. Шипко). Экскурсия в «мало-исследованную и таинственную» область.— «Русское богатство», 1899, № 9/12, отд. II, с. 127, 136, 147.
- ⁸⁰ В. Г. Подарский (Н. С. Русанов). Наша текущая жизнь.— «Русское богатство», 1900, № 12, отд. II, с. 128—129, 134—135.
- ⁸¹ Архив А. М. Горького, КГ-п-60-1-26.
- ⁸² В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10 томах, т. 10. М., «Худож. литература», 1956, с. 383.
- ⁸³ Там же, с. 469.
- ⁸⁴ «А вы бы поподробнее написать роман из жизни наших революционеров,— вспоминал Горький слова Михайловского.— Вы симпатизируете людям сильной воли,— сильнее и ярче этих людей вы не найдете в русской жизни!
- С глубоким чувством любви к бойцам и волнующе подчеркивая драму их жизни, он говорил о ничтожной — количественно — группе людей, которые хотели взорвать трон Романовых» (М. Горький. Полн. собр. соч., т. 16. М., «Наука», 1973, с. 488).
- ⁸⁵ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VIII, с. 808.
- ⁸⁶ ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 810, л. 1 и 5.
- ⁸⁷ «Русский литературный архив». Нью-Йорк, 1956, с. 211.
- ⁸⁸ «Встречи с прошлым». Сборник материалов ЦГАЛИ, вып. 4. М., «Сов. Россия», 1982, с. 436.
- ⁸⁹ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VI, с. 856 и т. X, с. 1053.
- ⁹⁰ Письмо Н. К. Михайловского Е. П. Летковой-Султановой, сентябрь 1883 г.— ЦГАЛИ, ф. 280, оп. 1, ед. хр. 201, л. 127.
- ⁹¹ Письмо Н. К. Михайловского А. П. Чехову от 15 февраля 1888 г.— «Слово», сб. 2. М., 1914, с. 217.
- ⁹² Скриба (Е. А. Соловьев). Из воспоминаний о Михайловском.— «Одесские новости», 1904, № 6214, 6235, 4, 26 февраля.
- ⁹³ ГБЛ, ф. 358, к. 412, ед. хр. 6, л. 29 и об.
- Любопытно, что в 1915 г. к Блоку придет художник Н. Н. Купреянов (см. о нем: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 93—94), внучатый племянник Михайловского. В жизни Купреянова было свое «Шахматово» — имение Селище под Костромой, где ежегодно бывал Михайловский, гостя у своей родной сестры Елизаветы Константиновны, в замужестве Мягковой, бабушки Купреянова. В 1932 г. Купреянов писал: «Дед Михайловский часто и подолгу жил там, и его личностью определялась атмосфера дома. Атмосфера эта сохранялась и после его смерти». «В материнской семье идеи народничества окрашивали собой все, до мелочей быта включительно,

вплоть до языка» (Н. Н. Купреянов. Литературно-художественное наследие. М., «Искусство», 1973, с. 79—80, 85). Однако в 1915 г. он был очень далек от этой атмосферы, увлеченный мистицизмом и эстетством. В декабре 1915 г. Купреянов писал Блоку: «Мне кажется, есть нечто общее в том, что я сейчас переживаю, с путем, когда-то пройденным Вами» (там же, с. 92). О несохранившемся ответе Блока и содержании их первой беседы можно судить по письму Купреянова Блоку от 16 декабря 1915 г.: «Вы предостерегающе пишете, что эпоха другая <...> Когда я был у Вас, Вы говорили об «искреннем шарлатанстве». «Нечаянная Радость», сказали Вы, была названа так «по глупости». Это очень жалко, но для меня важно еще потому, что боюсь, как бы мне и себя не пришлось уличать в «искреннем шарлатанстве»» (там же, с. 92—93). Внук Бекетова предостерегал внука Михайловского от увлечения эстетством и мистикой! Вскоре революционная эпоха вернула блудного сына в селищенский мир, который занял в графике Купреянова главное место. Художнику принадлежит обложка книги Блока «Ямбы» в издании «Алконост» 1919 г. (воспроизведена в ЛН, т. 92, кн. 3, с. 491).

⁹⁴ См. мою статью «Эстетика позднего народничества» в кн.: «Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX в.». М., «Наука», 1975. О «знаменитом Максе Нордау» Блок писал в 1918 г.: «Этот «разъяснитель» еще лет пятнадцать назад был «божком» для многих русских интеллигентов, которые слишком часто, по отсутствию музыкального чувства, попадали помимо своей воли в разные грязные объятия» (VI, 23). В феврале 1894 г., через три месяца после выхода книги М. Нордау «Вырождение» на русском языке, в «Русском богатстве» была помещена рецензия, в которой Михайловский как раз предостерегал русского читателя от этих «объятий»: «в целом это какая-то ракета, привлекающая к себе много внимания, но ничего не зажигающая. Есть что-то легковесное и не то что неискреннее, а как бы не настоящее в произведениях Макса Нордау, несмотря на его талантливость» (Н. К. Михайловский. Сочинения, т. X, с. 1014). А до выхода русского издания Михайловский писал, что выводы автора поражают «узостью и односторонностью» оценки «в высшей степени любопытных, не только литературных, но и общественных явлений» (Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1909, с. 495).

⁹⁵ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. V. СПб., изд. «Русского богатства», 1897, с. 528—529.

⁹⁶ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VIII, с. 482, 507.

⁹⁷ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VII, с. 804—805. Эта статья входила во II том «Литературных воспоминаний и современной смуты» Н. К. Михайловского, с которым Блок знакомился в 1902 г.

⁹⁸ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. IV. СПб., изд. «Русского богатства», 1897, с. 764.

⁹⁹ Знакомство с Гл. Успенским произошло не без участия Михайловского, ибо в статье «Три вопроса» Блок цитирует его работу «Г. И. Успенский как писатель и человек», знакомую ему, видимо, по т. I Полн. собр. соч. Успенского (СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1908). Это издание значится в перечне книг и петербургской и шахматовской библиотек Блока.

¹⁰⁰ Трудно допустить, что Блок совсем не знал писателя, которого ценил Вл. Соловьев (см. письмо Вл. С. Соловьева к В. Г. Короленко, октябрь 1891 г., в кн.: В. Г. Короленко. Избр. письма, т. 2. М., «Мир», 1933, с. 16). Но в петербургской библиотеке Блока значились лишь брошюры «Бытовое явление» (СПб., 1910; продана в декабре 1920 г.) и «Падение царской власти» (Пг., изд. «Освобожденная Россия», 1917), а также книга Н. Д. Шаховской «В. Г. Короленко. Опыт биографической характеристики» (М., 1912; в каталоге помета Блока: «Подарил Чуковскому» — ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 388). В описи шахматовской библиотеки книг Короленко нет, но далеко не все книги сохранились к моменту описания (см. прим. 177 к наст. ст.). Пометы Блока на статье Короленко о В. М. Гаршине говорят о сочувственном внимании (см. в наст. кн., ст. О. В. Миллер).

¹⁰¹ Письмо С. Н. Южакову — ГБЛ, ф. 135, разд. II, п. 14, л. 329.

¹⁰² ГБЛ, ф. 225, к. 4, ед. хр. 6, л. 5.

¹⁰³ «Русское богатство», 1910, № 12, отд. II, с. 178.

¹⁰⁴ См. резко отрицательные высказывания Блока о Белинском 1908, 1915 и 1921 гг. (V, 326, 488; VI, 166). А казалось бы, рассуждая отвлеченно, страстные искания Белинского, его духовный максимализм, безоглядная искренность, его рыцарское (поистине Бертраново) служение русской литературе должны быть близки Блоку. Но налицо обратное: темный драматизм беспутной и неудачливой судьбы Аполлона Григорьева Блок предпочел светлому трагизму жизненного пути Белинского, которому нужда и чехотка отмерили еще более короткий век, чем Григорьеву. Но свои 37 лет Белинский сумел прожить «удачливо»...

¹⁰⁵ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. V, с. 533.

¹⁰⁶ Там же, т. VI, с. 608.

¹⁰⁷ В. Г. Короленко. Дневник, т. IV. Полтава, 1928, с. 96.

¹⁰⁸ Письмо В. Г. Короленко Н. Ф. Анненскому 2 октября 1906 г. — ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 1, ед. хр. 13, л. 27.

¹⁰⁹ ИРЛИ, ф. 181, оп. 3, ед. хр. 11, л. 29.

¹¹⁰ ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 272, л. 30 об. — 31.

¹¹¹ Письмо П. П. Перцова к отцу 17 октября 1892 г. — ЦГАЛИ, ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 73, л. 20 об.

¹¹² В. Г. Короленко. Дневник, т. II, с. 222—223.

- ¹¹³ Письмо П. П. Перцова А. Г. Горнфельду 26 мая 1895 г.— ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 421, л. 4.
- ¹¹⁴ Письмо Н. К. Михайловского П. Ф. Якубовичу, январь 1896 г.— «Русское богатство», 1910, № 1, отд. I, с. 237.
- ¹¹⁵ Письмо А. Г. Горнфельда Н. К. Михайловскому 17 ноября 1896 г.— ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 177, л. 2 об.
- ¹¹⁶ Письмо П. П. Перцова к отцу 24 октября 1892 г.— ЦГАЛИ, ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 73, л. 22 об.
- ¹¹⁷ ИМЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 18, л. 1 и об.
- ¹¹⁸ Вл. Соловьев. Первый шаг в положительной эстетике.— «Вестник Европы», 1894, № 1; он же. Судьба Пушкина.— «Вестник Европы», 1897, № 9, с. 145.
- ¹¹⁹ См. письмо Ф. Ф. Павленкова Н. К. Михайловскому <1891>.— ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 510, л. 14 и об.
- ¹²⁰ ГПБ, ф. 211, ед. хр. 201, л. 55 и об.
- ¹²¹ Сб. «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей». Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911, с. 93—94.
- ¹²² «Русское богатство», 1900, № 8, отд. II, с. 166. Автор некролога — постоянный сотрудник журнала, а с 1904 г. член редакции В. А. Мясотин (установлено по гонорарной ведомости «Русского богатства» за 1900 г.— ГПБ, ф. 211, ед. хр. 1260).
- ¹²³ П. Д. Бородин. Европейский роман в XIX столетии. СПб., 1900, с. 345—346.
- ¹²⁴ Л. Северов (Радн). Объективизм в искусстве и критике.— «Научное обозрение», 1901, № 11, с. 46, 33; № 12, с. 48.
- ¹²⁵ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VII, с. 227, 239—241, 243.
- ¹²⁶ ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 335, л. 1—2.
- ¹²⁷ ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 53, л. 82.
- ¹²⁸ А. Н. Бекетов. Питание человека в его настоящем и будущем. М., «Посредник», 1893, с. 19.
- ¹²⁹ Там же, с. 29.
- ¹³⁰ Анонимный отдел «Русского богатства» «Новые книги» за 1893 г. не поддается расшифровке, так как соответствующие гонорарные ведомости не указывают авторов по этому отделу (см.: ГПБ, ф. 211, ед. хр. 1253).
- ¹³¹ «Русское богатство», 1893, № 9, отд. II, с. 55 и 59.
- ¹³² «Архив В. А. Гольцева», т. I. М., 1914, с. 199.
- ¹³³ В. Г. Короленко. Дневник, т. IV, с. 191—192.
- ¹³⁴ Письмо Б. Л. Пастернака Ю. И. Юркуну 14 июня 1922 г.— «Вопр. лит.», 1981, № 7, с. 230.
- ¹³⁵ П. Я. (П. Ф. Якубович). Без руля и без ветрил.— «Русское богатство», 1908, № 5, отд. II, с. 130.
- ¹³⁶ ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 37, ед. хр. 3, л. 3 и об. Ответные письма Короленко погибли вместе с архивом П. Ф. Якубовича, оставленным в пустой квартире в Петрограде в послереволюционные годы. В письме идет речь о третьем издании «Русской Музы», в котором Якубович значительно расширил отдел стихотворений Брюсова и включил семь стихотворений Сологуба, которого не было в прежних изданиях. Якубович объяснил свою «уступчивость» тем, что в «эпоху безвременья» «больное искусство, естественно, вызывало раздражение и озлобление передовой и мыслящей части общества и лучшие журналы середины 90-х годов едва вышучивали и огульно отрицали, между прочим, поэзию Сологуба, но теперь, когда то запуганное, мрачное время отошло уже в сравнительно далекое прошлое, к ней можно отнестись более беспристрастно...» («Русская Муза». Художественно-историческая хрестоматия. «СПб.», 1914, с. 399).
- ¹³⁷ Письмо П. Ф. Якубовича В. Н. Фигнер 16 марта 1906 г.— ЦГАЛИ, ф. 1185, оп. 1, ед. хр. 855, л. 14.
- ¹³⁸ ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 37, ед. хр. 3, л. 5 и об.
- ¹³⁹ Письмо от 25 сентября 1895 г.— ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 810, л. 1.
- ¹⁴⁰ «Русское богатство», 1896, № 4, отд. II, с. 143, 168. Якубович энергично пропагандировал и переводил Бодлера в Каторжной тюрьме в 80-е годы (см.: Лев Дейч. Певец «поколения, проклятого богом». — «Русское богатство», 1912, № 3, отд. I, с. 138), а в 1901 г. вступил в полемику с Ф. Д. Батюшковым, назвавшим Бодлера «певцом зла и порока», и отстаивал «светлую и возвышенную идейность» «жесткой книги» Бодлера (П. Я. В поисках сокровенного смысла.— «Русское богатство», 1901, № 8, отд. II, с. 85—87). Короленко принял сторону Якубовича в этом споре (см.: В. Г. Короленко. Письма. 1888—1921. Пб., «Время», 1922, с. 183). Об этой полемике см. публикацию А. Б. Муратова «П. Ф. Якубович. Письма к Ф. Д. Батюшкову». — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год». Л., «Наука», 1974.
- ¹⁴¹ «Русское богатство», 1900, № 10, отд. II, с. 46—47. Анонимное авторство рецензий в «Русском богатстве» раскрыто в указателе М. Д. Эльзона.— ЛН, т. 87.
- ¹⁴² П. Ф. Гриневич (П. Ф. Якубович). Надсон и его неизвестные стихотворения.— «Русское богатство», 1900, № 9, отд. II, с. 144, 136. См. также: он же. Обзор нашей современной поэзии.— «Русское богатство», 1897, № 9, отд. II, с. 20.
- ¹⁴³ «Русское богатство», 1910, № 4, отд. II, с. 80.

- ¹⁴⁴ У Чехова: «Дело не в пантеизме, а в размерах дарования». — А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 5. М., «Наука», 1977, с. 170.
- ¹⁴⁵ Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. XVI. М., изд. И. Д. Сытина, 1914, с. 10.
- ¹⁴⁶ «Русское богатство», 1904, № 12, отд. II, с. 30. В указателе М. Д. Эльзона (ЛН, т. 87) рецензия ошибочно приписана А. И. Гуковскому. В соответствующей гонимой ведомости «Русского богатства» в качестве автора указан А. Г. Горнфельд (ГПБ, ф. 211, ед. хр. 1264). Это подтверждается и списком собственных рецензий, который вел сам Горнфельд (ГПБ, ф. 211, ед. хр. 164).
- ¹⁴⁷ А. Пешехонов. На очередные темы. В поисках. — «Русское богатство», 1908, № 11, отд. II, с. 52.
- ¹⁴⁸ Там же, с. 54.
- ¹⁴⁹ Там же, с. 55.
- ¹⁵⁰ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VIII, с. 187.
- ¹⁵¹ «Письма к родным», I, с. 236.
- ¹⁵² А. Пешехонов. На очередные темы..., с. 52.
- ¹⁵³ ГБЛ, ф. 356, к. 1, ед. хр. 15, л. 6.
- ¹⁵⁴ Там же, л. 15.
- ¹⁵⁵ А. Дерманн. Об Александре Блоке. — «Русская мысль», 1913, № 7, отд. II, с. 71.
- ¹⁵⁶ В статье «О реалистах» (1907) Блок назвал В. И. Дмитриеву писательницей «очень почтенной, с незапамятных времен украшающей страницы «Русского богатства» своими произведениями» (V, 113). По-видимому, в этой оценке таилась ирония. С 1899 по 1910 г. «Русское богатство» действительно почти ежегодно помещало по одному произведению Дмитриевой, которая печаталась и во многих других журналах, от «Вестника Европы» до «Журнала для всех». Однако еще чаще редакция отклоняла произведения Дмитриевой, видя в них «выдумку во вкусе чуть не блаженной памяти „Хроники села Смурини“ П. В. Засодимского («Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду», Л., «Сеятель», 1924, с. 16).
- ¹⁵⁷ ГПБ, ф. 211, ед. хр. 225. Ф. Д. Крюков еще при жизни Якубовича «иной раз (...) пускался с ним в спор, становился против него в защиту поэзии модернизма», но терпел поражения: оказывалось, что Якубович знает предмет лучше, чем он (Ф. Крюков. Памяти П. Ф. Якубовича. — «Русское богатство», 1911, № 4, отд. II, с. 120).
- ¹⁵⁸ Заметка А. Г. Горнфельда о В. Г. Короленко. — ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 41, л. 4.
- ¹⁵⁹ А. Е. Редько (А. М. и Е. И. Редько). Литературные наброски. — «Русское богатство», 1913, № 12, с. 380—383.
- ¹⁶⁰ «Новое и забытое», сб. 1. М., «Наука», 1966, с. 142.
- ¹⁶¹ А. Анненская. Из прошлых лет. (Воспоминания о Н. Ф. Анненском). — «Русское богатство», 1913, № 1, с. 59.
- ¹⁶² ГБЛ, ф. 578, к. 1, ед. хр. 18, л. 1.
- ¹⁶³ ЦГАЛИ, ф. 389, оп. 1, ед. хр. 36, л. 129 об.
- ¹⁶⁴ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. III. СПб., изд. «Русского богатства», 1897, с. 772.
- ¹⁶⁵ ЦГАЛИ, ф. 280, оп. 1, ед. хр. 330, л. 4—6.
- ¹⁶⁶ П. Ф. Якубович. В мире отверженных, т. I. М.—Л., «Худож. литература», 1964, с. 319.
- ¹⁶⁷ ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 31, ед. хр. 74, л. 39. В письме идет речь о статьях Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича) «Шлиссельбургские мученики» («Русское богатство», 1905, № 10), «Vae victis! (Две трагедии 1889 года в Сибири)» («Современные записки», 1906, № 1) и «Раскрытый тайник (Из поездки в Шлиссельбургскую крепость)» («Русское богатство», 1906, июль).
- ¹⁶⁸ В. Г. Короленко. Дневник, т. IV, с. 182.
- ¹⁶⁹ ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 409, л. 10 об.— 11 и об.
- ¹⁷⁰ К. И. Чуковский. О Владимире Короленко. — «Русская мысль», 1908, № 9, отд. II, с. 135.
- ¹⁷¹ А. Амфитеатров. Пестрые главы. — «Современник», 1911, № 2, с. 167.
- ¹⁷² ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 14, л. 226.
- ¹⁷³ ГБЛ, ф. 135, разд. I, к. 8, ед. хр. 457. Судя по внешнему виду автографа — карандашная запись на обороте вырванного из блокнота листка, — Короленко мог написать эти строки во время долгого обсуждения доклада Блока. Свообразным «катализатором» для пародийного настроения Короленко обычно служил веселый и остроумный Н. Ф. Анненский, имевший чин надворного советника, но переаттестованный друзьями в «бесшабашного советника». Кстати, внешний облик 65-летнего Анненского более всего должен был напомнить Блоку деда: «как лунь, седой, с «походкой бодрою, с веселыми глазами» (I, 202). Кроме того, именно Анненский отличался изысканной «старинной» любезностью. Я прочла внучке Н. Ф. Анненского Татьяне Аньеловне Пащенко отзыв Блока о «стариках» из «Русского богатства» и спросила: «Как вы думаете, кто кормил Блока конфетами?». «Дедушка!» — твердо ответила Татьяна Аньеловна, хотя чаще она отвечает: «Не помню. Могу ошибиться». Я тоже «подозревала» Анненского. Возможно, были и другие встречи Блока с Николаем Федоровичем: Анненский был видной фигурой литературного Петербурга того времени. Блок писал матери 28 октября 1909 г.: «Анненский — царскосельский» («Письма к родным», I, с. 279), отличая младшего брата Иннокентия от старшего, жившего в Петербурге. И не случайно, разумеется, Блок

собирал материалы на тему «смерть Н. Анненского», как и материалы о смерти Ин. Анненского (VII, 421—422).

¹⁷⁴ См.: З. Г. Миниц. Лирика Александра Блока, вып. 3. Тарту, 1973, с. 77; А. Турков. Александр Блок. М., «Мол. гвардия», 1981, с. 131.

¹⁷⁵ ГБЛ, ф. 135, разд. I, к. 13, ед. хр. 749.

¹⁷⁶ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. III, с. 692.

¹⁷⁷ По-видимому, до Блока доходили весьма неточные известия о том, что Шахматово вместе с библиотекой сожжено крестьянами. После того как З. Г. Миниц и С. С. Лесневский опубликовали статью П. А. Журова «Шахматовская библиотека Бекетовых — Блока» («Уч. зап. ТГУ», вып. 358), версия о сожжении библиотеки отпала совершенно, ибо рукописи и книги Блока были вывезены из Шахматова в 1918—1920 гг., а в 1924 г. П. А. Журов составил опись русского отдела реквизированной библиотеки, вернее, того, что от нее к этому времени осталось. Повисает в воздухе и версия о «разграблении» библиотеки окрестными крестьянами, ибо единственный пример, на который опирается П. А. Журов, говорит как раз о другом: «О том, что некоторая часть книг рассеялась по рукам окрестных крестьян, можно судить по тому, что старик-крестьянин дер. Гудино (поблизости с Шахматовым) Ястребов, с которым Александр Александрович поддерживал знакомство, дарит таракановскому учителю А. Н. Михайлову книгу Н. Минского „Религия будущего“, принадлежащую Блоку. Книга дарится как собственная, с собственноручной подписью Ястребова и сорванной обложкой (на обложке вверху обычно ставилась подпись Блока)» (Там же, с. 401). Но ведь книга Н. Минского «Религия будущего» (СПб., 1905), хранящая многие пометы Блока, описана в 1924 г. самим П. А. Журовым в составе шахматовской библиотеки под № 169. Следовательно, у Блока было два экземпляра этой книги, один из которых он мог подарить знакомому крестьянину Владимиру Ястребову, грамотею и краснобаю, по характеристике М. А. Бекетовой (там же, с. 415), заинтересовавшемуся «божественным» заглавием, а тот, не одолев, разумеется, премудрости Минского, передал книгу учителю, оставив себе обложку с дарственной надписью Блока. Примечательную сноску делает сам П. А. Журов к № 169 своей описи: «Книга Минского подарена мною собирателю-блокисту Н. П. Ильину (Москва)» (там же, с. 411). Красноречивое свидетельство того, какой неопределенный статус был у блоковской библиотеки! Книги возили с места на место, разъединяли, дарили частным лицам, выдавали для чтения, ибо в помещичьем доме в селе Новом, куда библиотека была доставлена, находился дом отдыха студентов-свердловцев. Можно ли говорить при таких обстоятельствах, что библиотека была разграблена крестьянами! И следовательно, значительная часть вины с народной крестьянской стихии должна быть снята.

¹⁷⁸ Петр Митропан. Встречи с В. Г. Короленко. — «Вопр. лит.», 1965, № 5, с. 168.

¹⁷⁹ Свидетельство С. Потресова (С. В. Яблоновского) цит. по кн.: «Судьба Блока». Составители О. Немеровская и Ц. Вольпе. Л., 1930, с. 222.

¹⁸⁰ Предисловие к кн.: «Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду», с. 4.

¹⁸¹ А. Г. Горнфельд. На Западе. Литературные беседы. СПб., «Мир», 1910, с. 53.

55. Первоначально статья была напечатана в «Русском богатстве», 1905, № 4.

¹⁸² Цит. по кн.: Н. А. Трифонов. А. В. Луначарский и советская литература. М., «Худож. литература», 1974, с. 165, 169.

¹⁸³ Лидия Гинзбург. Человек за письменным столом. — «Новый мир», 1982, № 6, с. 244. Имена Михайловского и Блока поставлены рядом в статье Генриха Боровика «И вечный бой» («Правда», 1983, № 22, 22 января).

¹⁸⁴ В. Короленко. Полн. посмертное собр. соч., т. XVI. ГИЗ Украины, 1923, с. 63.